

Рамиль Халиков



Бродский, Басманова,
третий

Рамиль Халиков

Бродский, Басманова, третий

«Автор»

2026

Халиков Р.

Бродский, Басманова, третий / Р. Халиков — «Автор», 2026

Марианна Басманова, муза и возлюбленная Иосифа Бродского, не контактирует с прессой и не делится подробностями их совместной истории. Роман «Бродский, Басманова, третий» построен на мемуарах и статьях, письмах и архивах. В нем — жизнь, настолько правдивая, насколько она могла бы быть. Суждения автора здесь безоценочны и лишены критики: он пытается осмыслить путь самопожертвования, любви и необходимости принимать тяжелые решения, выпавшие на долю Марианны Басмановой. Говорят, что за каждым великим мужчиной стоит женщина — но на самом деле, никто не знает, каких усилий стоит этой женщине выстоять, сохранить лицо и сделать верные шаги. Возможно, с течением времени эти шаги кажутся ошибочными, однако третьи лица не вправе осуждать. «Бродский, Басманова, третий» — книга о том, как строятся и ломаются судьбы, и как особенно сложно это происходит в мире творчества и искусства, где живые люди оказываются заложниками — а то и жертвами — обстоятельств.

© Халиков Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ПОЭТ И ХУДОЖНИЦА	6
ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ	30
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Рамиль Халиков

Бродский, Басманова, третий

ПОЭТ И ХУДОЖНИЦА

1.

– Вы?!

Стерлигов сдавленно ахнул, отступил назад, как бы приглашая войти, но взирая на визитершу все же с опасливостью. Замялась перед порогом, стояла, с облегчением понимая – он сейчас один. Один, потому что даже не попытался взглянуть назад, в комнаты мастерской, – как взглянул бы любой мужчина, когда в жилище – другая. Выйдя из ступора, хозяин заторопился, запричитал:

– Да заходите же, заходите скорее! Господи! Как вы меня нашли?!

Шагнула вперед. Чертыхаясь, он возился с дверьми, в которых заклинил засов – простое, надежное приспособление, заевшее именно сейчас. Но вот лязгнул металл, отгородив их от остального мира. Марина смело к нему повернулась, посмотрела в глаза, увидела саму себя в его жадном, боязливом взгляде: легкое, не по погоде, голубое пальто, уже растянутое. Распущенные волосы – шапочку сняла еще в парадной, на лестнице, когда, выворачивая голову ввысь, считала ступеньки к его дверям. Стараясь быть непринужденной в голосе, сказала:

– С Новым годом вас, Владимир Васильевич!

– С Новым, душенька, с Новым!

Смотрел на Марину все еще с опаской – но ведь она уже здесь. Обменявшись новогодними пожеланиями, они неловко соприкоснулись щеками – и в груди ее занялся огненный шар. Торопливо отвернувшись, с показной лихостью попыталась было скинуть пальто, но застряла в рукаве; он ринулся помогать – слабо отнекиваясь, все же принимала помощь, и принимала с наслаждением... Когда руки мастера скользнули по плечам, вздрогнула – с тонкой струной блаженства, но и отчаяния одновременно: понимала, вышло случайно.

В записной книжке адрес его мастерской был вписан под нейтральную «М» – Мастер. Буква «С» здесь казалась странной – старый друг семьи, знавший ее с младенчества, он никогда для нее не был, собственно, Стерлиговым. Внести же запись под литеру «Л» – любовь – у нее, конечно, не хватило бы духу.

Этот адрес давно жег страницы блокнота, тлел под твердой корочкой обложки – когда лежал на столе, по правую руку, она могла смотреть на него долго, пристально. Почти запретные улица, дом, квартира – место его сокровенного одиночества. Комнаты, в которые он не звал никого и никогда. Прийти сюда было невозможно, только – ворваться.

И вот она здесь, здесь.

Пройдя в помещение, заваленное холстами, сидели в трудном молчании. Украдкой посматривала на властное, очерченное жесткими линиями лицо. Так странно видеть было его растерянным – робела перед ним в аудитории, но сейчас роли словно бы поменялись, и власть обрела уже она.

Решилась, наконец:

– Не могу объяснить, почему оказалась в это время, здесь... Не приглашена, а вот сижу же. Впрочем, держите шампанское...

И отдала ему бутылку с фольгой, которую крепче, чем нужно, все это время сжимала в руках. И когда передавала, свело вдруг пальцы в каком-то спазме, и был странный момент, когда они словно боролись за зеленый сосуд. Когда же отпустила, будто оборвалась нить, державшая в напряжении все это время; она почувствовала себя расслабленной, сердце билось

размеренно, готовое к безжалостной правде – не шадящей ни его, ни себя. И тогда решилась не медлить. Хозяин принялся открывать праздничный напиток, и Марина сказала:

– А впрочем, нет, могу... Знаю, зачем пришла. В вашем лексиконе есть словечко – предзнание. Позвольте, использую...

И снова все сжалось от страха. Он же хмыкнул, пока еще не понимая, что сейчас произойдет, сноровисто, по-мужски, раскручивая проволоку, которой было перехвачено серебряное горло бутылки:

– Предзнание?

Слегка коснувшись ладонями щек – они и в самом деле горели, – пристально вглядываясь в его руки, вертящие бутылку, Марина заговорила взволнованно:

– Да. Вчера, сегодня утром у меня возникло это самое ощущение. А причина – новогоднее празднество, кажется, все пошло от него... Люди ликуют и вот веселись со всеми, так нет... Из года в год, в последних днях декабря, со мной происходит вот что: проявляется какое-то звериное чувство хода времени. И жутко от ощущения спрессованности часов на годовых рубежах. От той невероятной легкости, с которой одна цифра меняет другую... Чувствовать это невыносимо. И жить в этих днях – невыносимо. Ты понимаешь, что должна вырваться из закланного круга, должна, наконец, что-то предпринять – немедленно, сейчас... А люди готовятся перейти эту грань. Почти ликуют. И ты чувствуешь, как нарастает новогодний гул, и, кажется, должна праздновать, идти куда-то вместе со всеми. Не могу. Будто они уйдут сейчас за границу года, а я останусь.

Сделала паузу, взглянула на него уже с отчаянием, но он молчал.

– И еще это страшное ощущение – будто задыхаешься. Будто в комнате надышали, будто воздуха, отпущенного мне на год – не хватило. И не хватило всего-то на несколько дней. И я чувствую в груди – стеснение и горечь последнего глотка... И вот еще что – воздуха не хватает, а ты не боишься смерти. Ты будто ждешь ее, и думать об этом совсем не страшно – только пустота в голове.

– Где вы встречали Новый год?

Перебил вдруг с тревогой, руки замедлились – он вглядывался сейчас в нее, как врач, до которого уже начинает доходить диагноз пациента.

– Дома. Неважно. Будто бы и не встречала. И знаете, что хуже всего? Вот грянул молодой год, а чувство спертости в груди не прошло. Обычно январь как новый воздух. Но не сейчас. Не прошло – впервые, наверное, в моей жизни. Нет этого чувства обновления. Я просто лежала пластом на постели. И вдруг возникла мысль... Мысль, отчетливая, ясная, выжигающая изнутри, требующая действия. Вспомнилось, что каждый год, в красное число, вы выходите вместо отдыха на работу, вот так, с самого утра, и трудитесь в своей мастерской. Все доедают новогодние яства, а вы работаете, работаете... Вспомнились ваши слова – как важны первые дни месяца, эти неторопливые, безмолвные начальные часы, символически задающие тон всему, что будет потом. И что для вас, может быть, это лучшее время в году. Вы, как мальчишка, ждете своего чуда – именно в эти часы, а не во тьме новогодней ночи... – Она повысила тон голоса, он почти зазвенел. – Ясно узрела лицо ваше, руки, как встаете к мольберту в одинокой своей мастерской... И поняла, что должна вас немедленно видеть. Должна явиться, признаться вам в том, что чувствую, что переполняет давно – сказать, что люблю...

Заветная фраза вырвалась легко, почти непринужденно, будто была отрепетирована заранее; оглушительно выстрелила в руках мастера бутылка, и горлышко излилось бешеной пеной. Марина непроизвольно вскочила, глядя с отчаянием, но будто ослабили колени – села, почти рухнула на стул. Стерлигов стоял совершенно растерянный, а пена все лилась, лилась. Поставил наконец зеленый сосуд на стол.

– Я люблю вас, Владимир Васильевич, и вы это знаете, – повторила она сокрушенно, отведя взгляд. – Знаете. Знаете. Знали все это время...

Затем сказала:

– И вы ко мне равнодушны. Я ведь вижу, чувствую, понимаю...

И он уже хотел что-то ответить, но она, будто испугавшись, перебила:

– Владимир Васильевич, я отчетливо осознаю всю странность поступка, но решила, пришла сказать, что отныне вам вверяю свою судьбу... Знаю, вы чистый, светлый, ясный человек, но вы и небо, огромное, всепоглощающее. А ведь у каждой выси есть своя бездна... И как бы странно ни звучало, но я хочу, готова ею стать. Я готова быть вашей сладостной тайной и бездной одновременно, заглядывая в которую вы будете и ликовать, и ужасаться. Готова на позор отчуждения, на забвение, я готова отречься от самой себя – во имя вас. Как вода, утеку в песок. Или же сгину в пламени... Чтобы ни выбрали для меня – приму как должное, с благодарностью.

Марина умолкла. Поначалу красный, потерянный, Стерлигов вздохнул, и она ясно ощутила в нем перемену, змейку гневливости.

– Что же вы... – начал он, как будто выбирая слова. – Вы – талантливейший художник! А ведете себя... Предлагаетесь чуть ли не в любовницы!

Марину повело – но только изнутри, лицо же не выразило почти ничего.

– В вас есть сила! – вскричал Стерлигов. – Великая, женская, в чем-то необузданная, первозданная! Она колышется, живет где-то глубоко внутри, под этим вашим спокойствием, под вечной скрытностью... Она волнуется, эта сила, как волнуется великое озеро под толстой коркой льда. Я чувствую ее. Но и вы почувствуйте себя, свою силу! Берите ее, пользуйтесь! А эти слова, что вы произнесли, эти любовные намерения... Они – не ваши! Они от какой-то растерянной, запутавшейся девицы, забредшей ко мне поутру...

И мир уже полетел в тартарары, но она сделала еще попытку спастись, сглотнула сухо:

– Нет. Вы правы, правы, отчасти... но нет. Я поняла. Давно уже поняла. Я не мыслю себя самостоятельно. Вот вы говорите, во мне есть сила. Да, я чувствую в себе эту силу, и, кажется, немалую – но понимаю одновременно, что она не моя... Не для меня она предназначена, а для кого-то другого! И никого иного в этом качестве, кроме как вас, я не вижу. Возьмите меня к себе, Владимир Васильевич. Ведь не требую ничего. Молю лишь о праве быть вашей тенью – неслышной, невидимой для других; готова стать хоть игрушкой. Для себя же хочу лишь права видеть вас единственным смыслом жизни!

– Но это невозможно! Я ваш мастер! Я женат, наконец!

– А разве не вы учили, – сказала почти с мукой, – белое рисовать черным? Ведь это ваши слова. Не вы ли говорили – из кривой линии да выйдет прямая, ведущая к свету? Что есть две чаши небесные, но прямая линия – линия правды – их разделяет... И лишь кривая – линия кривды – соединяет их вместе?

И промелькнул перед нею образ: чаша, поднимающаяся в небеса, и чаша, опрокидывающаяся в бездну.

Мастер, кажется, рассердился – его учили собственным учением.

– Что же вы мне предлагаете? Нам предлагаете? Создать новую жизнь, о которой будем знаем лишь вы да я? Так? Что-то прекрасное, терпкое – но вместе с тем фальшивое? Предлагаете жить этой фальшью, дышать, упиваться?

Остановил речь, молчал с прокурорской укоризною, молчал, будто требуя, чтобы на него посмотрела. Но она не могла смотреть – лишь чувствовала тяжелый взгляд. Интонации его смягчились:

– Пока молоды, вам следует понять важное. Жизнь часто будет ставить вас в ситуацию, когда нужно сделать выбор между истинным – и фальшивым. Вопрос этого выбора, собственно, прост: быть или казаться? Понимаете? Быть или казаться! Что касается вашего предложения... Поймите, я не то чтобы отвергаю его. Красивая женщина выбрала старика! И как

же хочется сказать «да», но в этом есть фальшь! И если вы меня ставите в положение выбора, и я выбираю истинное, выбираю быть. И вам важно понять: иногда выбор будет ох как тяжел...

Кивала послушно его словам – раз, второй, третий. Кивала, каменея с каждым кивком. А он говорил, говорил, говорил... Кивала, уже не считая своих кивков, как послушная ученица, которую отчитывает директор заведения; директор же говорил сбивчиво, путано:

– Чувствую ли я? Да, вы правы. Чувствую! Еще как чувствую! Вы входите в аудиторию, и я обмираю, как девица по весне – право, смешно... Но она ведь... Мы ведь с Татьяной Николаевной вместе еще с войны...

Назвал свою жену не Танечкой, как бывало, а Татьяной Николаевной: напоминал о ее высоком авторитете, выставлял перед собой, как щит. Вдруг растроганно замолк, заговорил с нежностью, вспоминая:

– Я встретил ее в Алма-Ате, в сорок третьем. И что же это было? Я стоял на станции и однажды увидел – да нет, узрел! – красивую женщину, идущую вдоль теплушек... Вагоны, уходящие куда-то за горизонт, жара, грязь, солдатский мат – и она, воздушная, почти невесомая в своих шагах. Женщина, превращающая обыденность людской жизни одним своим явлением в настоящее волшебство. Знаете, в этот-то момент я, возможно, и стал художником по настоящему – так захотелось передать эту красоту... Но я еще не мог, понимал, что не смогу – и было физически больно от этого осознания... И возникло тогда великое стремление – смочь. И ведь это она, Танечка, сделала меня художником. Тем, кто я есть. Это она вдохнула свет, что пылает во мне, и которым теперь восхищаетесь... Предать ее – значит предать себя как художника. Предать тот свет, что берегу в себе как самое святое... Слово бы частичка Бога всколыхнулась тогда во мне, у теплушек, понимаете? И вы хотите, чтобы я предал ее? Ту, что меня фактически создала? Предать себя? Того, кто стал плотью, самым смыслом ее жизни? – Он снова помолчал. – Чувства, говорите? Но чего они стоят, эти ваши, эти мои чувства, если ради них нужно кого-то убить?

Марина молчала, раздавленная его воспоминаниями. Вновь почувствовала в нем гневливую перемену – словно сердился на ее затянувшееся молчание, словно требовал ответа, а она не могла вымолвить и слова. Но что могла ответить, когда все уже сказано?

– Это непедагогично, наконец. Да и черт с ней, с педагогикой, – яростно вскричал, – но что скажет Павел Иванович, мой близкий друг и ваш отец?! Каково ему будет понимать, что его единственная дочь возлежит с таким вот старым козлом вроде меня?

Стерлигов даже задохнулся от возмущения – словно представил себя на миг на месте отца – но продолжил:

– Простите меня! Простите! – эти слова он, впрочем, произносил с нажимом, в обвинительном тоне. – Но единственное, что мы можем сказать нашим чувствам – это решительное, безусловное «нет»!

Стерлигов говорил еще – а в ней в этот миг что-то замирало; словно нота, взметнувшаяся вверх, сладкая нота, объявшая ее с того момента, когда она решила идти к нему – эта нота плывет еще в воздухе, но вот-вот умрет. А он все продолжал говорить, и говорить горячо, войдя в несложную, очевидную для него мысль; говорил, трогая ее за локоток, заглядывал в глаза: понимает ли его? Верит ли?

– Да, – отвечала она. – Да, вы правы.

Отвечала, не глядя на него. Не глядела бы и в пол – если б было возможно. Закрыть бы глаза, умереть – только бы не слышать этот поучающий и правильный голос.

Прощались сухо. Надевала пальто, а он уже и не предлагал помощь: будто боялся прикоснуться, будто осквернена. Повинная, пойманная на взлете, не смотрела на мастера, он же все пытался попасть под ее взгляд. В его поведении, впрочем, чувствовалась нотка молодцеватости, будто отразил опасную атаку врага; нет, не так – будто впустил к себе в комнаты женщину,

овладел ею, и вот, удовлетворенный, выпускает. Зная, что свое получил, понимая наверняка, что больше ее не увидит.

Такой – нет, не увидит.

– У вас, Марина, наверняка есть юноша – тот, кто любит. Не верю, что такого не существует.

Смотрел, впрочем, так, будто надеялся услышать «нет». Взглянула на него наконец – коротко, холодно.

– Да, есть, – ответила. – Боря.

Зачем-то назвала имя, словно важно было доказать, что явилась сюда не от одиночества. Добавила:

– Да, он любит меня.

– Вот и хорошо, славно. Вам с ним нужно быть. С ним! Понимаете? Там оно, ваше настоящее чувство...

Она молча, горько повернулась к двери, засов отворился легко.

– До свиданья, Марина! – крикнул в спину, выпуская из квартиры. И только тут в голосе его прозвучала досада – какая бывает, когда сладок плод, и мог быть твоим, но ты отказался от него сам. Кивнула неопределенно, в сторону, не оборачиваясь.

– Не забудьте: через неделю первый сбор года, – гулко, в потолок, скакнул его голос.

И хотела ответить – но придет ли теперь? К чему делать вид, что ничего не произошло? Не обещая ничего, не оглядываясь, стала спускаться как в пропасть – вниз по крутой, удлинившейся до бесконечности лестнице.

2.

У двери парадной Марину ждал, почесываясь, приبلудный кот – приподнял мордочку навстречу шагам, беззвучно мяукнул. Обратив к нему пустые глаза, все ж удивилась – наглая рыжина была у того не только в шерсти, но и во взгляде. Широко распахнула дверь, выпуская животину. Холодная сердцем, остановилась на крыльце – спокойно, почти без дрожи, застегивая верхнюю пуговицу пальто. Да, просто пуговицу – ту, что душит, что невыносимо подпирает горло, но она ее застегнет. Прощальным выстрелом хлопнула в спину дверь – рука не дрогнула и тут. Справившись с пуговицей, шагнула со ступенек, прошла еще несколько шагов – и только тут ее обьял жар, и только тут настиг стыд от этого немыслимого утра.

Остановившись, воздела руки, пытаясь холодом ладоней унять огонь, обьявший лицо; щеки горели так, будто была отхлестана от души, и отхлестана – понимала уже – по праву.

Вместе с тем почувствовала и облегчение, освобождение от своей муки: рубикон перейден. Ее вышвырнули прочь на мертвый синеватый ленинградский снег. Вышвырнули со всеми сладостными полотнами, которые успела уже было в своем воображении нарисовать. Ах, дура, какая же дура! Да как посмела помыслить!

Будто в тумане, добрела до остановки, села в троллейбус, проехала положенное, снова сошла на снег. Ускорила, шла стремительным ходом по улицам. Голова пыталась найти тротуар к дому – но ноги сами сворачивая в переулки, намеренно удлиняя путь: надо было обдумать, осмыслить, побыть одной. Постепенно возникало ощущение недоделанности, смутное чувство, что, освободившись от одной муки, она должна разобраться и с другой, – и вначале не понимала, с какой именно. Пошла медленнее, размышляя – это ощущение, этот зов к избавлению был столь явственен, сколь и неуловим одновременно. А едва поняла, остановилась как вкопанная; пред ней ясно предстало, что должно последовать после.

Борис. Боря Тищенко.

Сделав несколько беспокойных шагов, села на старую скамью, весьма кстати возникшую на пути – будто сидя обдумывать было проще. Скамейка была старая, с парой сломанных ребер.

Тронула одну из битых досок, затем – гудящую свою голову. У нее был словно прострелен висок – тут-то и возникло стойкое ощущение, что следует доделать работу, прострелить и другой.

Мать встретила в немом укоре уже в прихожей, смотрела, как раздевается. Конечно, ждала каких-то слов – в утренние часы дочь выпорхнула из дома стремительно, ничего не объясняя, – и, видимо, ей было что объявить на этот счет. Не дождавшись пояснений, родительница молвила, сухо и несколько ожидаемо:

– Приходил Борис.

Всего лишь Борис. Ну конечно, же. Боря. Марина не ответила, но и не смогла удержать злой улыбки, в которой было и ясное отрицание любых разговоров на эту тему; раздраженно вздохнув, мать направилась в сторону кухни.

С некоторым облегчением – объяснения отложены – Марина вошла в зал: здесь она обитала, здесь, за занавеской, отгораживающей невысокую танцевальную эстраду от остальной части помещения, был ее уголок. Говорить с матерью совсем не хотелось, тем более сейчас, когда та на взводе: из кухонной комнаты доносился боевой грохот кастрюль, жалобно позвякивали тарелки. В этом шуме читалось невысказанное, какая-то грозная мысль, возможно даже там взрастали семена будущего скандала.

Значит, Борис все-таки приходил. Устало опустилась на стул, огляделась – и вдруг остро почувствовала его недавнее присутствие в этой комнате. Должно быть, пока вспоминала его там, в городе, на разбитой скамье, он молча и нервно ждал ее возвращения. Сидел, наверное, на этом же стуле. Смотрел, должно быть, на занавеску, отделявшей ее «эстраду» от остального пространства комнаты. Вот уголок кровати, небрежно застеленной; вот фрагмент книжной полки. И в груди юноши клокотала буря, но он был подчеркнуто вежлив, улыбался матери, что пыталась его приободрить: «Не волнуйтесь, Марина сейчас придет!» И он ждал, ждал – Марина хорошо представляла выражение верности на его кротком лице. Ждал, посматривая на часы. И в какой-то момент не выдержал, вышел из зала, почти выбежал из ее квартиры. От него, впрочем, осталась белая коробочка с розовой лентой: пришел с новогодним подношением. Конечно, надеялся вручить лично, но не уносить же обратно... Смотрела неподвижно на этот подарок, смотрела почти враждебно: белая коробочка, без надписей, с интригой: подойди-ка, развяжи яркую ленту. Рядом записка – ровно, обидчиво сложенный листок. Равнодушно отодвинув коробочку, Марина взялась за послание, уже понимая, как дрожал клочок бумаги, пока складывали его вчетверо, обнажая острые углы упрямой в него мысли.

«Дорогая Марина, – писал Борис, – зашел справиться о здоровье. Наталья Георгиевна сообщила, что тебе стало лучше – настолько, что ты рискнула выбраться на прогулку. Огорчен, что не смог дождаться. Надеюсь, мы сможем увидеться вечером, как ранее договорились. Твой Боря».

Сухой, обиженный слог, два слова – «огорчен» и «надеюсь» – были подчеркнуты дважды, и, как показалось, с раздражением. Даже от наклона, от нажима букв в записке веяло досадой.

Что же, причина была понятна. Новый 1962 год они должны были справить – впервые! – вместе с его родными. По мысли Тищенко, их отношениям, длящимся уже два года, пора было перейти на другой уровень. И, казалось, ничто не предвещало бури. Вечером тридцать первого она уже направилась было к нему, но на углу дома бросился в глаза городской телефон, из которого, в отсутствие домашнего, обычно и звонила. Она сразу поняла, что должна сделать дальше: вынула из кармана «двушку», набрала номер Тищенко – и сказалась больной. Хуже было другое: отменяла визит, не особенно заботясь, поверит ли в причину. Разговор провела ровным, твердым голосом, в котором не слышалось и намека на болезнь; хотя нет, ведь ей действительно было плохо.

Они жили по соседству – их дома находились в пяти минутах ходьбы. Тищенко ожидаемо промямлил, что хотел бы прийти ночью, после курантов – твердо, решительно пресекла. Нет, приходить не нужно, она не смеет оторвать его в праздничную ночь от родных... Нет-нет, это действительно лишнее, не сейчас – добавила уже с легким металлом в интонациях, и голос Бориса съезжился, сник на том конце провода. Договорились, впрочем, что он сможет навестить ее утром, второго. И да, она помнит о вечеринке – по давней привычке во второй день года Тищенко собирал друзей. Да, придет, если позволит самочувствие.

Так идти ли на вечер? Или?.. Перечитала записку еще раз, теперь она казалась почти обидной – а не позвонить ли в ответ? Не уволить ли Боря с поста своего воздыхателя звонком с уличного телефона? Да, именно так, просто и грубо?

Мягко вторгаясь в ее мысли, в зал вошла мама. Остановилась на расстоянии, как будто наткнувшись на невидимую границу. Сказала издали, но твердо, решительно:

– Борис был очень, очень огорчен. Просил напомнить об обещании прийти к нему вечером.

– Да, мама.

Сказала с неопределенностью в голосе, ничего не обещая, но мать оживилась:

– Я надеюсь, – сказала уже мягче, – я уверена, ты сможешь сдержать свое обещание.

Марина улыбнулась, и, кажется, улыбка вышла нервной: ей было двадцать три, но у матери она уже ходила в старых девах, которым давно пора замуж. Подходящая кандидатура – Тищенко – в семье была не просто одобрена, но считалась практически идеальной. Их брак был ожидаем, считался делом почти решенным, поэтому тень разлада в отношениях, ставшую очевидной к концу года, в семье восприняли болезненно; отмена же совместной встречи Нового года была и вовсе возведена в степень катастрофы. Первые дни января не принесли облегчения: сегодня утром Марина куда-то убежала, не дождавшись жениха, а теперь не хочет идти на вечеринку. И рядовое, казалось бы, событие – праздничный сбор молодежи – на глазах теперь облекалось в плоть некоего стратегического мероприятия, способного все спасти...

– Я еще не знаю. Не хочу идти. Видишь ли, мама...

– Я понимаю, дочь, – перебила мать. – Я все понимаю. У вас с Борисом сложный период. Но прошу все же подумать.

«Несложный, мама. Все просто. Вчера еще любила другого, сегодня – уже никого». И так хотелось произнести это вслух – но, конечно, не скажет никому и ни за что. Один лишь намек на ее любовь к Стерлигову, старому другу семьи, вызвал бы грандиознейший скандал.

Пауза затянулась: не хотелось идти к Тищенко, но и не знала, как сказать, чем оправдаться. И вообще, здесь нужно другое, пара каких-нибудь фальшивых фраз, что-то ободряющее, дающее надежду: Марина чувствовала, как измотала мать за последние дни. Вот она замерла вдали, в тревоге, у дальней стены. Стоит, измученная желанием подойти, обнять дочь, стоит, не смея преодолеть границу, что та очертила... Так и не дождавшись ответа, поджав губы, мать прошла в кабинет отца.

Марина сидела молча, в давящем тишиной зале. Слова матери снова всколыхнули думы, все эти много раз обглоданные мысли о Борисе. Об их любви, а если точнее, о его к ней любви. В какой-то момент, подзабыв все плохое, она снова глухо, тихо, с нежной обреченностью думала об этом человеке.

Но после опять вспомнился старый художник, ее мастер, учитель. Вспомнился каким-то безжалостным ожогом мысли, тут же вытеснившим напрочь Тищенко; всплыл в памяти его яростный монолог, и следом, ярко – изречение, царапнувшее Марину еще тогда, во время нелепого визита.

Быстро раскрыла блокнотик. Движением, будто собиралась что-то зарисовать, вывела в нем решительное: «Быть или казаться». Вчиталась в написанное, отшатнулась, будто вдохнула

нашатыря. Захлопнула блокнот – резким движением, будто мысль ее возмутила, словно намереваясь ее забыть; встала, поспешно удалилась прочь.

Блокнот так и остался лежать на овальной поверхности стола; проходя мимо, она в тот день обязательно кидала на него взгляд. Скрытые в нем слова обжигали не до конца понятным смыслом, все сильнее разгоравшемся в глубине страниц.

Лишь ближе к вечеру Марине стало ясно, что должно сотворить с этой фразой. Расстелила в зале, на большом столе, кусок ватмана. Почерком, в котором было и каллиграфическое изящество, и ясная строгость одновременно, вывела: «Быть или казаться».

Прикрепила плакат над кроватью в своем закутке, отступила, критически его оглядывая. Отчетливо вообразила, как войдет в зал мать, как скептически пожмет плечами. Как весело глянет на нее отец, и, пожалуй, не удержится, произнесет какую-то колкость о романтических порывах юности...

Торопливо изорвав лозунг, вновь погрузилась в задумчивость. А потом достала другой лист ватмана, вновь навела на него черную буквицу – те же письмена, но все-то теперь по-другому... Марина удовлетворенно оглядывала свою работу, когда объявилась мать. В ее взгляде ясно проявилось недоумение:

– Что это?

Ответила, почти веселясь:

– Нечто новогоднее, мама.

– Новогоднее?!

Недоумение матери было понятно: в новом варианте плаката фраза была зашифрована. Так она делала с записями в дневниках, чтобы смысл не открылся никому и никогда. Впервые за последние дни улыбаясь, Марина сказала:

– Я бы сказала, своеобразное новогоднее поздравление. Или послание...

– Но кому?

– Тому, кто сможет понять.

А после добавила:

– Что же касается вашего Бори... – почувствовала почти удовольствие, когда проговаривала «вашего». – Так и быть. Я к нему схожу!

3.

Перед выходом из квартиры остановилась у трюмо. Почти машинально подняла руку к лицу, собираясь освежить губы красным. От польской помады, подаренной к прошлому Новому Году и остававшейся почти нетронутой, ясно дохнуло сладковатым ароматом. Подевичьи замерла, рассматривая себя в зеркало – да нет, смотрела, скорее, на отражение помады в руке. Изучала внимательно, будто заметила в нем что-то новое. Смотрела, остро ощущая нотку постыдности в этом малом косметическом предмете. Словно бы и запах манящий, и глубокий матовый цвет были признаками неясного обещания мужчине – обещания, которого не хотела бы ныне давать никому и ни за что. Оглядев себя еще раз, опустила руку, и на сей раз оставив помаду нетронутой.

Шла по улице, все еще не понимая, как быть с Тищенко, что ему сказать – теперь, когда пустота в душе стала так очевидна. Пока сердце было наполнено любовью – и что с того, что не к нему – их отношения казались вполне уместными. Она легко входила в его дом, в это хрупкое жилище на окраине настоящих чувств; и нет, ей не казалось это диким. Напротив, в ситуации была своя логика – в ней клокотал такой океан чувств, что их толикой она была готова поделиться и с Борисом.

Нет, не любила его. Не любила. Конечно же, нет. Но любовалась им. Красивый, преданный, великодушный. Марина в какой-то мере была ему даже признательна. Ведь благодаря Тищенко в ее жизни так ярко проявились те зыбкие элементы, из которых и ткется иллюзия отношений: прогулки, совместные выходы в свет... Постель, наконец.

Но теперь, когда все рухнуло, фальшь между ними стала болезненной, невыносимой. Отвергнутая мастером, Марина должна была отторгнуть и Бориса. Готовая еще недавно отдать все одному, и чуточку другому, понимала: отныне ничего и никому. Им нужно расстаться. Ей нужно уйти – и не от Тищенко даже, а вообще из мира мужчин. Не видеть их, не замечать. Отсидеться в своей пустыне, собраться с мыслями. И может быть с кем-нибудь, когда-нибудь, когда сердце будет готово – начать все заново, с чистого листа.

Но что делать теперь? Нужно бросить его – но как? Рассказать, что было на самом деле? Как же все сложно! Шла по заснеженной улице, понимая, что дальше так нельзя: пределы достигнуты. В этот вечер, в ближний час, они обязаны будут прийти к какому-то решению. Остановилась в задумчивости у витрины. Скосила взгляд на свое отражение в стекле. Ненакрашенная, усталая, волосы едва прибраны. Как же сильно ее вечерний образ уступал утреннему, яркому, когда спешила к мастеру. Впрочем, даже это полустертое отражение оставило в ней чувство удовлетворения: пусть и прошлогодней свежести, но есть у нее красота, и есть молодость...

Надо признать, Борис был удобен. Жил в роскошной квартире с одной стороны Никольского собора, в то время как она обитала в доме с другой. И сошлись почти сразу, как познакомились: талантливый, элегантный, часто заходил в гости. В семье его обожали – улыбаясь с мамой, неизменно дружелюбен с отцом. Человек безмерной тактичности, всегда знал, что сказать в трудный момент, а где промолчать. Заканчивавший все свои учебные заведения золотым медалистом, год 1962-й Тищенко встречал пятикурсником Ленинградской консерватории; несколько дней назад, запершись с ней на кухне, он с тихим торжеством возвестил, что в аспирантуру его берет сам Шостакович. В общем, жених был хоть куда – его яростные мечты о светлом будущем грань за гранью обретали реальность уже сейчас. К тому же недурен собой, всегда притягивал к себе женское внимание, на которое, впрочем, не реагировал: из всех выбрал почему-то ее, Марину.

Были и недостатки, как без них – в постели был несколько суетлив, с каким-то пресновато-предупредительным подходом, – с той излишней чуткостью к телесным потребностям партнерши, которое поначалу трогает, но потом начинает раздражать.

Она уже подходила к дому Тищенко, как из-за поворота возникла ликующая, пританцовывающая новогодняя компания; все хором прокричали ей поздравления. Посторонилась, словно ей могли причинить зло – нет, конечно же не могли. Скорее, было неприятно их публичное, напоказ, веселье: будто оно само по себе было злом. Но стоило разминуться, как проводила их чуть завистливым взглядом – вот идут люди, которые могут, умеют наслаждаться мгновением. Люди, не терзающие себя вопросами о том, что будет после; те, для которых и зимний воздух не холоден, но горяч; которые просто вдыхают его – полной грудью, не задумываясь о воздухе вообще.

Толпа удалилась, но тут же вослед пробежала девица, словно бы приотставшая от компании. Пьяненькая, с грустным лицом в холодном воздухе, она торопливо проговаривала обиду, называя оппонента по имени – и конечно же, тот был мужчиной.

К Тищенко заявила поздно. Замерзшая, быстро поднялась на этаж, подняла было руку к звонку. Замерла на мгновение, распахивая тягостные помыслы по закоулкам, готова приветственную улыбку, но последняя мысль все же утвердилась в голове: зря, зря пришла. Сейчас нажмет на кнопку, и звонок взвоется трелью, как объявление войны... Не успела, впрочем:

за дверь раздавался взрыв молодого, счастливого смеха, – показалось, что не заперто. Взялась за ручку, вошла в квартиру, недоверчиво осознавая свою правоту.

И даже хорошо, что обошлось без звонка. Прокрасться бы в прихожую, как вор, не привлекая внимания. Скинуть мохнатые зимние одежды, побродить между празднующими, словно тень – и так же незаметно удалиться. Не то чтобы не хотелось видеть Тищенко – скорее, не желала, чтобы он ее видел сейчас. Взглянуть бы на него незаметно, как в замочную скважину. Осмотреть с мстительностью: как он там? Скорбит ли, что не пришла на Новый год?

Хозяин квартиры появился со стороны кухни, кинулся к ней с полусдавленным воплем нежности. Словно караулил, сторожил свою дверь, словно ждал именно ее. Скривила улыбку, подставляя щеку для поцелуя, но он угодил в губы, и это было чуть больше, чем просто приветствие. Нервно откинула голову назад, уклоняясь, нетерпеливо похлопала ладошкой по его груди.

Пока раздевалась, вели осторожный пустой диалог о совершенно несущественных вещах. И словно бы та беседа была прелюдией, своеобразной прихожей перед переходом в другой разговор, посерьезней... Но как его начать, какими словами?

Борис сразу же осознал, что предновогодняя ее болезнь была мнимой. Марина, впрочем, и не думала отпираться. Роняя пространные фразы, спокойно смотрела ему в глаза, как бы давая понять: нет, Боря, оправдываться не буду. Чувствовала – непризнание вины его заводит. Возникло даже ощущение, что ее нежелание оправдываться задело Тищенко больше, чем сам факт вчерашнего отсутствия.

Наконец, прорвались его первые вопросы, с легкой тенью скандала: Марина, мы же договорились! Это нелепо, в конце концов! Напирал, стоял близко, выговаривая шепотом – все то, что не мог, не смел выразить в записке.

Отвечала механически, вполголоса. Знаешь, Боря, мне было и в самом деле нехорошо... но, скорее, от неудовлетворенности чувств. Нет-нет, ты тут ни при чем (добавила это с усмешкой, намеренно его зля). Нет, Боря, просто так сложилось. Так бывает, понимаешь? Борис, смягчаясь, морализаторствовал, бубнил свои тирады откуда-то издалека. Марина отбивалась серыми, будничными фразами, постепенно, впрочем, от него отвлекаясь.

Отвлекаясь – потому что в квартире было что-то еще. Это был упругий, ритмичный, восходящий словесный поток: в гостиной исполняли стихи. Читали необычно, никогда еще не доводилось слышать такой манеры декламации. Взглянула в сторону приоткрытых створок, затем досадливо – на Бориса. Он осекся на полуслове, и вдруг стало понятно, как ей начать свой трудный разговор.

– Пойдем на кухню, хорошо?

Окаменев в недобром предчувствии, проследовал за ней, у входа замешкались. Вошел первый, встал у стола, между ними почти ощутимо возникло пространство, поле настороженности. Притворив дверь, Марина сказала уже спокойно, обдуманно:

– Я не люблю тебя, Боря. Это будет честно – знать обоим.

Резанула правду оттуда, от двери, почти заперев его в комнатке, не дав и шанса сбежать от этой ясно сложенной в голове правды. Говорила что-то еще – убедительное, тщательно продуманное за последние дни и часы. Проговаривала с безжалостной интонацией, почти холодными глазами наблюдая за его болезненной реакцией. И лишний раз убедилась – не любит этого человека, нет, не любит, ведь почти и не жалко. Когда он наконец захотел что-то ответить, перебила:

– У нас нет будущего, Боря, и не будет. Это тоже честно.

Сзади затолкались в дверь, влетела девица, заговорщицки взглянула на бледного Тищенко:

– Ой, кажется, я не вовремя! – Обернувшись к Марине: – С наступившим вас, девушка!

Выскочила, вновь тишина. С напряжением оборачиваясь на дверь, не войдет ли кто-то еще, Марина сказала:

– Любовь – это способность совершать глупые, почти безумные поступки ради кого-то. Это лихорадочное состояние, когда уверен, что поступаешь абсолютно верно... Но после с ужасом оглядываешься на недавнее прошлое. Это поступки, которые никто не поймет – да ты и сам осознаешь содеянное с трудом.

– Возможно, ты просто не осознаешь, на что способна, – сказал вдруг Борис.

Удивилась – слова прозвучали дерзко, а ведь казалось, он почти раздавлен.

– Я способна! – возвысила голос. – К счастью ли, сожалению ли – я оказалась способна. Но не ради тебя. Вот в чем дело. Я поняла это на днях, вчера... Вот почему нам нужно расстаться.

– Но ты пришла, – сказал почти с отчаянием.

– Пришла, потому что не могу так больше. Пришла, чтобы высказать – и уйти. И да, прими вот это...

Вспомнила о подарке, что еще в прихожей вынула из сумки, и держала, мяла все это время в руках. Хороший, зимний, славный шарф, купленный загодя, в ноябре, у подруги, вернувшейся из-за границы. Вручая его, хотела даже чмокнуть, по-дружески, в щеку, но передумав, просто сказала:

– С Новым Годом, Борис. Желаю всего наилучшего.

Со второй фразой, пожалуй, погорячилась: прозвучало издевательски.

Обидчиво, гордо Тищенко выскочил из кухни. Ей тоже следовало идти, покинуть его жилище – теперь, когда точки расставлены. Следовало – да вспомнился тот поэт, что декламировал стихи. Прислушалась – поэтическое представление продолжалось, все тот же юношеский голос с напором... Как же долго читает!

Уговорила саму себя: просто взглянет на стихотворца, одним глазком, и сразу уйдет. Направилась, однако, в соседнее, почти пустое помещение. Уверенным взглядом выявила одинокий стул в дальнем закутке, присев, вынула из сумки блокнотик. В углу торчала искусственная ель, по моде, машинально начала рисунок – объект был неинтересен, скорее пыталась успокоиться. Мелкими штришками вела по бумаге карандаш, точнее пыталась: голос поэта с его тягуче-магнетическими интонациями волновал, не давал работать.

Беспокойно убрав блокнот, направилась зачем-то опять в сторону кухни – мимо с хохотом проскользнула праздничная пара. Тут же наткнулась и на другую: в углу целовались две тени, и меньшая тянулась к большей на цыпочках. Стояла, оцепенев, жадно оглядывая. Возникла легкая зависть – давно же не целовалась вот так, с закрытыми глазами, с запрокинутым вверх лицом... Почему любовь всегда так легка, бесплотна, как эти тени? И почему нелюбовь обретает очертания двух фигур, ведущих тяжелый разговор на тесной кухоньке? Поняла, что, пожалуй, подглядывает; нахлынуло чувство неловкости от пребывания здесь: ее бледное, чужое лицо среди оживленных физиономий.

Вспомнилось: Борис накануне вещал, что среди гостей будет поэт – его хороший знакомец, Иосиф: «довольно навязчив, но талантлив, чертяка!» Осведомилась о фамилии – ведь поэт всегда начинается с фамилии, – впрочем, скорее, из вежливости. Ответил свежо:

– Запомнить, Марина, будет легко. Имя мое и его фамилия начинаются почти одинаково. Однокоренные, можно сказать, слова. Ну, почти...

– Как это?

– Борис и Бродский. Мое «Бор» против его «Бро».

Вот, Бродский! Должно быть, он и выступает. И ведь действительно, запомнила!

На поэтическом представлении разыгрывалась шекспировская драма. Стол, накрытый под фуршет, находился в одном конце зала, гости же сгрудились в другом. В центре комнаты, как бы перегораживая путь к новогодним угощениям, обретался рыжеволосый молодой человек. Стоял как на линии огня, в позе тореадора, рука предупредительно поднята: народ, ни шагу вперед! Вначале стихи! В другой зажата стопка листов с виршами. Читал монотонно, ритмически точно, чуть раскачиваясь, как еврей на молитве – но в саму эту монотонность была вплетена нить терпкой чувственности:

...плач всех людей. А рядом с ним Поэт,
давно не брит и кое-как одет
и голоден, его колотит дрожь.
А меж домами льется серый дождь...

Запнулся, сбился с ритма, яростно стукнув себя по лбу – будто вогнав на место потерявшуюся строку, – продолжил с прежней страстью:

... свисают с подоконников цветы,
а там, внизу, вышагиваешь ты.
Вот шествие по улице идет,
и кое-кто вполголоса поет...

И вроде пришла к стихам, но, войдя в комнату, не столько внимала поэзии, сколько следила за лицом декламатора – словно срисовывая для памяти; внимала, впитывала мелодику речи. Мягкий голос, элегантно грассирование, сминающее верхушку у буквы «р». Полувопросительные интонации, почти всегда – акцентуация на второй половине фразы. Даже предложение без вопросительного знака казалось у него вопрошающим.

Вот делает паузу, подзабыв строку, и лицо на миг застывает – словно медальон, словно лик с древней монеты; и чувствуешь в этой маске печать величия... Но вот, чуть кашлянув, он возвращает забытую строку-беглянку – и лицо-медальон тут же распадается на множество осколков, становится страстно-текучим, под стать проговариваемым словам...

Молодого стихотворца перебили – мол, не пора ли заканчивать. Чуть опешив, он мгновенно собрался, ответил резко, с напором, следом другому – завязалась перепалка. Народ в ту праздничную минуту был явно не расположен к высокому. Марина смотрела на него, улыбаясь: нервный, нелепый, спорящий поэт.

– Ося, стихи совсем не новогодние! – говорили ему.

– И, кроме того, на улице не дождь, а снег.

В комнате рассмеялись.

– Что же мне теперь, не читать поэму совсем, в угоду вам, пигмеям? – спросил поэт. – Ждать до осени?

Нервно улыбаясь, он просительно оглядывал стоящих перед ним людей, будто все еще надеясь превратить перепалку в шутку.

– Ну хотя бы до тех пор, пока мы не уйдем.

Новый взрыв хохота; гости, наконец, ринулись к столу со снедью. На какой-то момент молодой поэт оказался стиснут толпой, стоял, брезгливо оглядывая лица, текущие вокруг, высоко вытягивая в воздух руку с зажатыми в ней стихами.

Когда же выбрался в сторону – как-то вдруг оказались рядом. Неопределенно ей кивнув, поэт нетерпеливо складывал, почти комкал внушительную пачку листов с текстами. Оглянулся, словно в поисках поддержки – и перехватил ее взгляд.

– С Новым годом, – помедлив, почти вынуждена была сказать Марина.

– Премерзкий праздник, – ответил с вызовом. – Нет, видали?

Когда читал стихи, в его голосе ощущалась мальчишеская звонкость, отчего поэт казался юным, но сейчас поняла, что ошибалась: конечно, он старше. Возможно, они даже ровесники.

– Что же тут особенного? – пожала плечами. – Пишу духовную променяли на просто пишу...

Произнесла еще несколько фраз в развитие темы и, наверное, могла бы сказать что-то еще, но поняла вдруг, что он улыбается. Но без насмешки, по-доброму, светло – и будто уже позабыв, с чего повел разговор.

– А вы, должно быть, Марина, – сказал с легким стеснением. – Боря мне о вас рассказывал. Художница, да?

Удивилась – откуда он мог знать ее лицо? Неопределенно повела плечами.

– А вы, вероятно, Бродский. Тоже наслышана.

– Иосиф, – чуть склонил голову. – И что же такого обо мне поведали?

– Есть такой поэт, что бросается на слушателей, словно бульдог какой. Хватает их за плотку, потрясенных, и не отпускает, пока не допоеет последний стих...

Насторожился, но она улыбнулась – и он торопливо рассмеялся вслед.

– Это вам Боря обо мне наплел?

– Может, и Боря, – не сдержалась, чуть поморщилась от упоминания этого имени.

– Зря я это затеял, да? – Иосиф сокрушенно качнул головой. – У них колбаса во взгляде, а я стихами их потчую.

– Что вы хотите? Арс лонга, вита бревис!¹ Жизнь так коротка, а искусство... В общем, оно подождет!

– Искусство вечно, признание – быстротечно, – быстро ответил Иосиф. – Если, конечно, оно, это признание, состоится вообще.

– Опасаетесь?

– Чего?

– Непризнания.

Задумался. Взглянул на едоков, вдохновенно столпившихся у стола. Сказал рассудительно:

– Вам, мастерам кисти, проще. Занятие живописью более практично, фактически, это ремесло. А вот занятия поэзией... Это такой массовый забег юношей и девушек, подверженных иллюзиям. В этом забеге участвуют миллионы, ярко представляя свое величие. Я достаточно пообтерся в этой среде. Каждый мнит себя вторым Пушкиным, на худой конец, третьим Державиным. Но к финишу, где ждут слава и толпы поклонников, добираются единицы. Поэтому, да – опасаясь.

Первичное представление о нем оказалось почти верным – лицо у него было живое, текучее, почти все время меняющееся, с легко приливающей к щекам кровью. От этих постоянных ужимок оно казалось Марине почти некрасивым, но, когда замирало – тогда-то и проступала красота.

– А кем себя мните вы?

– Вообще-то, Бродским, – самоуверенно улыбнулся он, и эта самоуверенность даже подкупала. – Только им одним. Но мне нравится Цветаева. А из более ранних, пожалуй, Баратынский. – Сощурившись хитро. – Как думаете, какое у Баратынского отчество? Абрамович! – изрек почти торжествующе. – Абрамович. У кого ни спроси – никто не знает. Я думаю, это вытеснение, вытеснение. – Людям сложно принять, когда у русского поэта – еврейское отчество, – и, помолчав, добавил: – Не говоря уж о том, когда еврейские имя и фамилия. Смешалась, не зная, как отвечать – ей, русской, всегда было сложно с этой темой.

¹ . Ars longa, vita brevis (Лат.: «искусство вечно, жизнь коротка»)

– Но вернемся к Цветаевой. Если бы спросили, почему Цветаева, я бы сказал – у нее каждая строчка словно бы в облачке боли. И эта боль – трогает.

– Боль так важна?

– Она первична, – сказал он. – Из боли да родится стих!

– А Ахматова?

– Нет, – сказал энергично. – Не мое, но уважаю бесконечно. Прохладный, ясный, чистый стиль, будто прозрачное озеро в тихую погоду. Красота глубокая, истинная, до самого дна. Захватывает дыхание от отточенности строчек, от прозрачного течения воды. Но – не мое. Мне ближе Цветаева, с ее порывистыми бурунами страсти. Кстати, хотите познакомлю?

– С кем?

– С Ахматовой, конечно.

– Вы знакомы?!

– Захаживаю, – горделиво ответил молодой человек, будто был ее соседом, и речь шла о самой обыкновенной вещи. – Хотите, сведу?

Марина промолчала. Кажется, речь шла не столько о визите к поэтессе, сколько о продолжении знакомства. А к этому она не готова.

– Знаете, – сказал он, – когда друг повез к ней в будку, чтобы нас представить, трудно было осознать происходящее до конца.

– В будку?

– Так иронически величается ее дача, в Комарово, Союзпис выделил. Одна комнатенка, есть кухонька, печь правда, хорошая, и большая веранда... Потому и будка. Так вот, для меня это имя было связано с чем-то древним, далеким, отжившим. Я был уверен, что ее и живых-то давно нет... Если бы в конце поездки мой дружок рассмеялся и воскликнул – старик, это была шутка! – я бы не был удивлен, нет...

– И как вам она?

– А я вас познакомлю, да... Увидите сами. – Выдержав вескую паузу, поглядывая на нее значительно, сказал: – Но для того потребуются одна незначительная вещица. А впрочем, вполне себе значительная.

– Какая же?

– Я должен записать ваш телефон.

И она улыбнулась, перевела разговор на другую тему, и перевела так, чтобы ему стало понятно, что это намеренно.

К ним подошел вдруг Борис, чуть растерянный – как если б наблюдал издали и вот не вытерпел, решил вмешаться. Подозрительно глянул – на нее, на Иосифа, – вклинился в беседу, словно и не было неприятного разговора на кухне. Но затем, будто вспомнив, что разговор все же состоялся, властно утянул Марину за руку.

Тищенко, впрочем, не был настроен на скандал – говорил извиняющимся голосом. Ему очень жаль. Но ведь Новый год, Марина, все ссоры надо бы оставить в старом. Добро? Вещал с оправдательными нотками, словно и не она дерзила на кухне. Словно это он стоял у двери, чеканя оскорбительные фразы. Удивлялась, но потом поняла – ушла не сразу. Должно быть, решил, что Марина ищет пути к примирению – и по-мужски сделал первый шаг... Вдруг почувствовала – Бродский смотрит на них. Повернула голову – и верно, внимает издали, изучающе, по-воробыиному приподняв плечи.

Не знала, что отвечать Борису – нелепы, нелепы все его эти мысли; но не устраивать же скандал вновь. Как же она устала. К счастью, выручила одна из гостей, подскочила к ним, будучи подшофе, запричитала:

– Ну где же ты, Боренька! Мы все тебя ждем!

Борис глянул на девушку досадливо, но та, во хмелю, уверенно напирала – и он сдался. Перед тем, как уйти, Тищенко подошел к Иосифу. Со значением глянув на Марину, как бы пометив ее взглядом, сказал:

– Моя невеста, между прочим. Хотя и не осознает этого.

Удалился с напряженной спиной, и они оба, Иосиф и Марина, с одинаковым холодком во взглядах, смотрели ему вслед.

– Так вы его невеста? – спросил Бродский. – Это правда?

– Ближе к истине другое, – ответила резко, – я этого не осознаю.

Цепко взглянув, уточнил:

– Не осознаете – еще?

– Скорее, уже.

Усмехнулись оба; и когда вспоминала после, казалось, что в этой быстрой, совместной усмешке было что-то нехорошее, обидное для Тищенко.

Но грянул конкурс, молодая беготня вокруг стульев, в конце которой должен был остаться один предмет мебели – и лишь один победитель. Смотрели со стороны, не принимая участия. Стояли близко друг к другу, молча наблюдая за чужим весельем, отблески которого нет-нет да и пробегали по их лицам. Не смотрела на поэта, но особенно остро чувствовала сейчас близкое, терпкое, какое-то биологическое его присутствие. И захлестнула вдруг мысль: все-таки не зря пришла. Не зря. На победном стуле оказалось в итоге двое – веселящийся брюнет в очках, и на коленях у него бешено хохотавшая блондинка. Еще один финалист, плотный, коренастый, красный от бега, стоял рядом, досадливо посматривая на очкарика.

Иосиф сумел раздобыть полбутылки вина, закуски – в тарелочке с синим якорем.

– Такая же есть и у нас, – сказал Иосиф. – Как без кошки в доме у моряка?

– Кошки?

– На морском жаргоне это еще и якорь.

– И кто же у вас от морской стихии?

– Отец, отец...

Чокнулись за Новый год, поэт закурил, вдохновенно запрокидывая голову. Заговорили – он вещал торопливо, взалхев, пытаясь перебить набирающий силу молодежный гвалт. Еда быстро закончилась, потчевали друг друга познаниями – чуть во хмелю, она просвещала Иосифа о сложностях рисунка. «Взять тень – она так зависима от света! Мы пишем даже не тень, Иосиф. Мы, по сути, отмечаем недостаток света». Отвечал уверенными, чуть пространственными рассуждениями о поэзии, снова прозвучали имя Цветаевой, Баратынского – с легкой небрежностью произносил его через «о» – а следом и Слуцкого. Будучи оригинальными, мысли собеседника показались Марине, впрочем, словно бы не по статусу. Будто великоваты, как пиджак не по росту – ну не может зеленый, безродный поэт рассуждать о поэзии, как масти-тый...

И вот еще странное ощущение – стрелки уверенно убежали в ночь, а она совсем не отмечала времени, не искала часов.

В квартире меж тем нарастал гомон, народу будто прибавилось, становилось тесно – но было чувство, словно остались вдвоем. Само его присутствие как бы выключало внешний свет – отметила сразу, с первых минут. Почувствовала это остро, с влечением к нему; будто сдвигается вбок остальной мир, сереет его яркая картинка, и они остаются с краю той ойкумены – но вдвоем, вдвоем.

Снова подошел и о чем-то спросил Борис, ох, неугомонный – Марина не сразу и поняла. Ответила с показной холодностью. С равнодушием – своему еще недавно мужчине. Любимому-нелюбимому Борьке, к кому и пришла, собственно, в этот вечер. Ответила так человеку, жившему надеждами, что когда-нибудь, войдя в эти двери, она останется навсегда. А после снова

повернулась к Бродскому – с показной теплотой, чутко заглядывая в глаза. И, конечно же, со стороны это выглядело бесцеремонно – да попросту дико.

Ей все равно было, как это выглядит.

Борис постоял несколько секунд, оглушенный переменой в любимой. Переменной, дошедшей до него во всей полноте только сейчас. И тихо вышел из круга их разговора – Марина даже упустила момент, когда это произошло.

Время, когда следовало уйти из гостей, она почувствовала одномоментно, остро – будто прошелся по коже прохладной волной ветерок. Будто легла на плечи, придавила свинцовая шаль: Марина ощутила усталость, взметнулась в груди тревога. Это было как сигнал – и лучше бы прислушалась, ушла. Бродский, оживленный после вина, вызвался прочитать «стишок»: как он выразился, «набросал под Рождество». И ведь остановила его – не сейчас. Нужно было уходить, уходить, не доводить до той точки скандальной: не успела.

Тищенко явился к ним снова, теперь уже в подпитии, причем в изрядном. И не один, а в окружении друзей, смотрел на нее пьяно – почти прощая, почти влюблено, почти готовый все забыть.

– Марина, я люблю тебя, – сказал чуть треснувшим голосом, при всех, и тоненько охнула за спинами гостей какая-то девочка. – Марина, я... Я хочу быть с тобой всегда.

После, осмысливая эпизод, поняла: кажется, Борису было важно сказать публично. И то, что восстала против их любви, порывалась уйти, только придало ему сил. Должно быть, решил, что должен действовать по-мужски, прорваться резко, преодолевая ее сопротивление – к новой главе их жизни, к новому статусу отношений.

Вот только Марина была настроена иначе: эта пытка нелюбовью, фальшью, должна была закончиться сегодня, сейчас. А если перетерпит, смолчит, кивнет – то и не закончится никогда. Ответила тихо – но так получилось, что услышали все:

– Это все лишнее, Боренька. Мы должны проститься. Ну не люблю я тебя. Я ведь сказала... Просто не люблю, понимаешь?

Повисла в воздухе пауза, на лицах гостей возникла печать мгновенного отрезвления, словно пьяную пластинку сняли с иглы, словно и не во хмелю они были, а лишь изображали. Смущенно кашлянул Бродский – с испугом ли, с сожалением ли – и даже чуть отстранился. Ведь после слов Марины, произнесенных не на какой-то там кухне, а публично, смотрели с осуждением даже не на нее. Толпа смотрела на них обоих: словно бы двое оказались в сговоре.

Глянула на собеседника мельком, косо – обидеться бы на поэта, но по-своему было его жаль.

Молча, ни с кем не прощаясь, Марина проскользнула мимо Тищенко, мимо его друзей – в спасительный полумрак прихожей. Роняя чужую одежду, чуть ли расшвыривая ее, лихорадочно одевалась. Одна, в пустоте – конечно, никто бы и не подумал сейчас помочь; а в голове все билась, билась ночной птицей мысль: лучше бы не входила в этот дом. Не входила бы сегодня. Не входила бы никогда вообще.

4.

Выскочила к морозному воздуху, разгоряченная спором, задохнулась от первого глотка холода – больно, как насильник, тот запечатлел поцелуй на сухих губах. Слабо махнув рукой, выдохнула многодневный камень, что угнездился глубоко внутри. Даже закашлялась, пошла кругом голова от ощущения легкости, свободы... Какими же крутыми виражами начинался год. Призналась в любви – была отвергнута. Следом признались в любви ей самой – отвергла уже она.

Сошла со ступенек, не оборачиваясь, быстро пошла от парадной.

Скорее почувствовала спиной, чем услышала, как хлопнула дверь – Борис, конечно же, выскочил вслед. Не оглядываться, не показывать слабость. Нет, только не сейчас... Нервно перебирала фразы – окликнет, возможно, схватит за руку, и тогда нужно будет что-то сказать. Возможно, грубое.

Вспомнилась сценка из лета: Тищенко заканчивал сюиту. Показывал ноты, и тыкая в партитуру, шутиливо комментировал: «а вот здесь у меня, по замыслу, визгливо взмоют вверх скрипки. И здесь... И вот здесь...»

Вот и в их любовной драме настало время нервно играющих скрипок. Терпеть не могла таких вот «послесловий» – объяснений вслед, судорожный поиск слов и смыслов, когда, казалось бы, все уже сказано.

Пошла медленнее, позволяя себя догнать. Когда топот шагов приблизился, обернулась – со взглядом резким, осуждающим...

То был не Тищенко, но Бродский: Марина потерялась.

– В прихожей, пока одевались, – сказал поэт, – вы уронили мое единственное выходное пальто. Ваш ботинок вступил в самую область сердца!

Явно в шутиливом настроении, предъявил влажное пятно на груди.

– Уж простите, – сказала растерянно.

– Поднял было пальто, чтобы вернуть на вешалку. Но мысль пронзила: мне б на плечи его. И бежать, бежать за вами!

– Это еще к чему?

– Так побьют же поэта!

Расхохотался, с выражением счастья на лице – улыбнулась и она, но нервно, слабо, нехотя.

– Видели б вы картину после вашего ухода. Борис, – имя друга Бродский вымолвил с ироническим ударением на первом слоге, – чуть ли не рыдает на желтом диване. Рядом девицы, из сочувствующих. Хмурые парни вокруг, играют желваками. И тут я, со своим прекрасным носом, делаю вид, что не при делах... Они мне еще поэму не простили, а тут такое. Скажут, увел девушку у друга, да еще в Новый год!

В Марине еще пульсировала нервная пригоршня слов, и она готова была бросить ее в лицо – да вот хотя бы этому стихоплету...

– Вы же знаете, что это не так, не так! – сказала в сердцах. – Никто и ни у кого меня не уводил.

– Я-то, положим, знаю. Но много ли надо толпе, чтобы осудить? У Бори парочка футболистов гостила, из ленинградского «Динамо», серьезные, я вам скажу, ребята. Уж было закатывали рукава, но я за дверь и был таков.

И было сложно понять – продолжает ли шутить или говорит серьезно. Но вот его лицо стало торжественным, с менторскими нотками возвестил:

– Но правды ради, с Борей вы были излишне резки. Вот так, да еще в Новый Год... Представил себя на его месте. Каково ему сейчас?

И оба разом оглянулись на парадную, будто ожидая, что вслед за ними выбежит и Тищенко – с отчаянным лицом, в распахнутом пальто, заматываясь на ходу в мохеровый шарф. Смотрели на мрачную громаду его дома, темнеющую в небесах – как пропасть, опрокинутая вверх. Смотрели, постепенно осознавая, что этого не произойдет.

Раздражение уходило.

– Так вы решили меня ему вернуть?

– Я? Нет, что вы! – И пытливо: – А есть вероятность, что вернетесь?

– Я? Нет, что вы.

Чуть стеснительно он рассмеялся, улыбнулась и Марина, – сдержанно, глядя в сторону.

И вот, в осторожном отдалении, пошли рядом – Марина по тротуару, спутник по заледневшей дороге... Шли, чувствуя ту неловкость, когда парень и девушка впервые наедине. Не то чтобы пара – скорее, впервые соприкоснулись траектории их дорог. Чувствовала: смотрит на нее испытующе.

– Вы его любили когда-нибудь? – спросил, будто выстрелил, с расстояния своих двух или трех шагов.

Опешила от неожиданности, удивила жадная интонация вопроса, само его поспешное вторжение в пространство личного – а ведь едва знакомы.

– К чему эти расспросы?!

– Простите, да.

Шла, выговаривая ему взглядом.

– А впрочем, Иосиф... Скажу так: любила. Вот только не Бориса!

Сказала с интонацией, будто прошли годы, а ведь не минуло и дня; будто отболело, пережглось – а ведь боль все еще в ней ворочалась. Но вместе с тем сказано это было с ноткой уклончивости, будто не хотела касаться темы вообще – и, кажется, ее спутник это осознал.

Огибая Никольский собор, дошли до края площади: если влево, то выйдут на ближний и быстрый путь к ее дому. Вправо же зимний канал, и тогда придется идти путем долгим, кружным, по снежному Ленинграду. Потоптавшись, почти не сговариваясь, выбрали дорогу дальнюю, скользкую.

Шли поначалу молча. Скандал на квартире с Тищенко словно бы перечеркнул их уже было сложившийся диалог, какое-то первичное понимание и моментами даже увлеченное погружение друг в друга. А может, дело в алкоголе, в той легкой, новогодней атмосфере общения, что захлестнула собравшихся? Теперь же, когда они остались одни, когда вдвоем на пустынной улице у тех же самых слов возникал дополнительный будто бы вес, – так непросто было складывать их в речь.

Вышли к заметенному снегом, почти безлюдному каналу. Медленно двигались вдоль чугунной ограды – по дорожке, сузившейся от выпавшего снега. Шли словно по тропе и от этого казалось, что не они выбирают дорогу, а тропа их выбрала – и ведет. Подул ветерок, и сразу стало заметно, как легко, по-щегоольски был одет спутник. Украдкой кидала взгляд на его пальто – а ведь и правда, пятно на груди. Неужели умудрилась на него наступить? Подняв воротник, поеживаясь от холода, Бродский пытался найти знакомых в их круге общения. «А этого знаете? Нет? Ну с Техноложки, бородатый такой...»

Она все еще присматривалась к собеседнику, чувствуя уже, впрочем, некую общность. И дело было даже не в совместных знакомых, коих оказалось не так уж и мало. Но еще в квартире у Тищенко почувствовала в нем какое-то тотальное, восклицательным знаком, одиночество. Какую-то душевную хрупкость, которую он старался преодолеть нарочитым весельем, и даже наглостью, так некстати проявляя свой напор. Это был человек со смешинкой, но словно бы изгнанный из веселья. Человек, стремящийся к общению, но остающийся вне толпы, отторгнутый ею. И вот теперь он пробует, настойчиво пробует проложить к ней тропинку из слов, а она и не может толком ответить. Прошли первый из мостов, соединяющих берега канала. Почувствовав к нему и жалость, и доверие одновременно – зыбкое, ненадежное, но все же доверие, – сказала:

– Вы спрашивали о любви. Не хотела говорить. Но отвечу. Отвечу, поскольку вы стали свидетелем той безобразной сцены. И пусть вы человек посторонний, но важно объясниться... Нет, я не такое чудовище, как со стороны, должно быть, показалось...

Сделала паузу, словно давая собеседнику возможность опровергнуть последнюю фразу, но он лишь кивнул с серьезным видом, будто так все и было.

– Вчера, сегодня – мне было невыносимо больно. Был ужасный диссонанс с этим вот праздником, с весельем, что накатывало все безудержней – а я будто окаменела в своей боли. Праздник, он ведь только все обостряет, понимаете? Минул еще год, месяц, час, а ты все там же. Знаете, боль от некоей недосказанности, что ли... – Заговорила вдохновенно, горячо: – Есть, был любимый человек – и нет, это не Боря! – есть взгляды, и в них было все. Но слова будто бы под запретом, ты нема этом воздухе, ты не можешь, не должна говорить, что чувствуешь. Но ведь без слов нельзя. Слова – как мосты от одного человека к другому, и вот ты не можешь пройти, стоишь на своем берегу, а он на своем, и у вас только взгляды... И боль от невозможности обладания тем, что является для тебя единственно важным, в какой-то момент стала невыносимой. Признаться, я решилась довериться этому человеку в чувствах, я прошла по тому мосту – и мой поступок, разумеется, не был оценен. И постыдность ситуации, когда осознала... Она просто проткнула меня, как булавка бабочку! – Засмеялась вымученно: – Знаете, боль была такой дикой, что я шла и думала: вот не вынесу, не донесу ее до дома, умру.

– Сочувствую.

– Но мне это далось легко. Точнее... Было непросто, но вот сейчас, когда все позади – легко. Боль была целительной – я словно бы заново обрела себя. Словно вошла в огонь – и вышла из него, нагая и обновленная. А это важно. Мне нужно было оставить этот год, эти несколько лет, да и всю прошлую жизнь, пожалуй, за границей года. Новый год, знаете ли, лучшее время для обновления, для таких вот поступков... И вот еще что. Вы друг Бори, хороший друг, насколько понимаю. Я почувствовала в ваших словах – вы словно порицаете меня за то, что я так вот размашисто с Борей порвала.

– Нет, ну не то чтобы... – сказал он несколько неубедительно.

– Но я чувствую, знаю, что права. И вы правы на самом деле – да, это было безжалостно, это действительно не делает мне чести. Но я говорила про огонь, а Тищенко... Боря – он как огарок, понимаете? Что-то отмершее рядом с тобой, с чем не можешь мириться уже никак. Так случилось: сквозь огонь прошла я – а умер в нем он, пусть только и для меня одной. Мы должны были расстаться, и расстаться немедленно, сейчас, в этой ночи... Как неуместны были эти празднования, эти застолья, какая фальшь! Я остро чувствовала правду в своем решении, понимала необходимость этого поступка... Мы не могли начать во лжи еще один год. Я была в начавшемся году его девушкой лишь день – и то было дико...

Остановилась вдруг, посмотрела не него с тревогой:

– Вероятно, кажусь вам ужасным человеком – любила одного, встречалась с другим...

– Нет, ну что вы.

– Ужасным. Самой странно. Знаете, я ведь осознала, пусть понимание сошло и внезапно, лавиной. И появилась такая вот жажда очищения, жажда правды – а в этой правде места нашему Боре, к сожалению, не нашлось.

Шли, замедляя шаг. Город еще слал из темноты праздничные кличи, гасли одно за другим окна домов. Иосиф казался задумчивым.

– Но почему, Марина?

– Вы о чем?

– Почему Борису не нашлось места в вашем сердце? Ведь он хорош? Несомненно, хорош.

– Иосиф, это большой, большой вопрос.

Ответила с холодностью, отстранено. Молодой человек кивнул:

– Хорошо, замнем.

После паузы, впрочем, добавил, будто бы даже сердито:

– Знаете, вопрос даже не о Боре... Здесь нечто личное.

– Как это?

– Я ведь, когда к нему попадаю... Будто в музей пришел, настолько в жизни все у него ладно! Так образцово, так уверенно, так благополучно он существует. Нашел свое место, призвание, талантлив, как черт, все у него есть, и даже девушка – самая красивая в городе.

– Скажете тоже.

– Скажу. И повторю вновь – самая. И когда у такого благополучного внешне человека нелады с личным вопросом, сразу тревожно – чего же ждать другим? Тем, кому не так повезло? Я вот прямо скажу: у меня в этом смысле все плохо.

– Благополучие Бори? – Усмехнулась. – Уж как по мне, это минус.

– Но почему?!

– В нем все слишком правильно. Меня привлекло в нем как раз другое – некая драматическая нотка, глухая, серая, неразборчивая нить, идущая из прошлого, связанная с отцом, кажется, репрессированным... О чем в семье почти не говорят, но что подразумевается, стоит за всем. Это трогало, будоражило. И, казалось, Боря будет отстаивать связь с родителем, пусть это и неразумно. Позже поняла – он слишком напуган, чтобы быть неправильным. Если и есть в нем углы, драма, то глубоко внутри, надежно сокрытые от глаз. Он словно камешек, обточенный водой – крепок, да, уверен в себе, да, им можно любоваться... Но также и гладок, возмутительно пресен. Отныне его судьба – всю жизнь бежать впереди красного паровоза, доказывая партии свою нужность и преданность. И лишь на кухне, наедине с угодливым, не таким талантливым дружкой... Знаете, есть такие, что вьются вокруг гениев, заглядывая в глаза... Боря – он не гений, нет, но непременно такого заведет, чтобы через него осознавать свою значимость... И с этим-то вот приятелем, под водочку, он и будет ругать советскую власть, вспоминая отца. Хватать приятеля за руку: а знаешь, каким он был? А ведь Боря почти и не знает родителя. Но будет у него тоска по преданной памяти отца. Нет, он не то чтобы предавал. Но будет жить с ощущением, что всем своим существованием, своими успехами во славу Красной Звезды он его предает... И тогда нужна будет водка, чтобы тоску эту заглушить, нужен будет тот, кивающий и все понимающий собутыльник – локоток на краешке стола.

Помолчав, закончила сухо:

– Наши отношения были слишком рациональны, чтобы в них оставалось место и для любви. – И почти брезгливо: – Иногда мне казалось, что мы и сошлись-то лишь потому, что живем рядом. Удобно-с, знаете ли...

Бродский поглядывал на нее с осторожностью. Она вдруг увидела свою фигуру его глазами – так, будто глядит с другой стороны канала. Речь ее, пожалуй, жалка, как поиск оправданий. Словно бы она жаждет оправдаться перед новым знакомцем. А может, и перед самой собой – той ночной, отчаянной, ворочающейся в душной постели с боку набок, имеющей обыкновение судить себя резко, по гамбургскому счету...

Почти жалобно спросила:

– Насчет Бори... Не слишком ли было жестоко? Я что-то выкрикивала. И, кажется, видела испуганные лица.

Отреагировал неожиданно:

– Хотел бы я быть на его месте. Как ни странно прозвучит, хорошо иметь такого отца... Точнее, его трагическое отсутствие, тоску по нему. У меня ведь папаша – завзятый коммунист. Думаете, в честь кого меня называли?

– Догадываюсь.

– Лучше совсем без родителя, чем с таким.

– А знаете, Иосиф, это даже хорошо, что вы за мной увязались. Ждала Борю, выскочили вы... Нет, правда, хорошо. Мне было тяжело, невозможно держать все это в себе, хотелось выговориться, объясниться. Ну не в небо же мне кричать? Да и вы высказались. И то, что друг Бори – так это даже лучше...

– Да? Чем же?

– Говорю с вами, и будто за вашим плечом, где-то вдалеке, маячит он сам. Слышит. И все потому, что ему вы приятель, а мне вот – никто. Вещаю вам, а словно бы с ним общаюсь. Появились слова, которые должна была сказать Боре – но не смогла, и уже не смогу, но их важно произнести. Понимаете? Его они оскорбят, а вы стерпите.

Подошли к мосту со львами и пора бы возвращаться – Марина первой шагнула дальше.

– Иосиф... Наверное, покажется нелогичным. Но все же прошу вас: ему ни слова, из того, что слышали. Хорошо? Такая вот я коварная натура – хочу выговориться в его адрес, но так, чтобы сам он не услышал ничего из сказанного! Так что вы, друг Бори, не проболтайтесь.

– Обещаю.

– Давайте забудем о Боре. Как же он измучил меня в эти дни, все мысли о нем... И так, вы поэт. И что же дальше? Учитесь, работаете? Кто вы?

Выдержав тяжелую паузу, отрезал сухо, желчно:

– Не учусь, не работаю. Как выражается отец, веду жизнь трутня.

Взглянула на собеседника осторожно, чувствуя болезненность ответа. Понимала, что беседу следует перевести на иные темы, но не успела. Он почти выкрикнул:

– Человек пишет стихи. Неужели это не может считаться работой?!

Помолчав, добавил, через шаг-другой:

– Я служу поэзии, – сказал тихо, чуть гордясь, с долей юношеского самолюбования. Она вдруг остро почувствовала, что старше собеседника – как чувствуют это девушки даже в отношении ровесников. – Да, служу. Но иногда бывает страшно.

– Поясните?

– У любого занятия, Марина, должен быть смысл, некое вознаграждение, что ли, за труды. У своего я этого не вижу. Человек жив надеждами, пока видит что-то прекрасное за горизонтом – то, к чему захочется идти. И вот этой-то замечательной перспективы – нет, не наблюдаю. Все что есть передо мной – бетонная стена с красным серпом, и она в ста метрах или двухстах... И я подошел к ней близко. Вот-вот упрусь.

– Говорят, вы становитесь популярны.

– Да. В тихих квартирках, вроде этой, где читают стихи, да и то лучше не в Новый Год. Но выйдешь из того дома – стена, стена.

– Неужели нет никакого выхода? Думается, при известных стараниях можно добиться издания книг, вступить, наконец, в Союз писателей...

– Марина, – говорил уже на грани терпения, – вы служитель кисти и холста, вам проще. За всеми нами, творцами, конечно, есть пригляд. Но с точки зрения чиновника, образ, изображенный на картине маслом, не равноценен слову, оттиснутому на бумаге свинцом. Нарисуете вы картину с березкой – не издадут ни звука против. Если же я ту самую условную березку поставлю в рифму, ее изучат под лупой в трех инстанциях, прежде чем пустить в тираж. И мне страшно, я порой боюсь – тот ли путь выбрал...

Покачал головой, будто сожалея, что вообще затеял этот разговор.

– А чего боитесь вы?

Марина ответила быстро, почти не задумываясь:

– Всего, что начинается с частицы «не».

– Например?

– Недописанная картина. Недолюбленная любовь. Неотправленное письмо.

– Картину я могу понять – вы художница. Про любовь – в общем-то, тоже ясно... Но почему письмо?

– Бывало ли, что вас преследует один и тот же сон? Мне вот такой снится. Нелепый, порой раздражающий. Вижу письмо, которое пишу и никак не могу дописать. Бесконечное, длинное. И адресат его – неизвестен. Помню, у Бори вы хотели прочесть новый стих, да я вас остановила. Что ж, теперь готова. Говорили, написано к Рождеству?

– К декабрьскому, хотел бы поправить, – спутник заметно оживился. – Я как-то осознал, что Рождество связано для меня с декабрем и только с ним. – И с легкой ноткой шутливости: – Считайте, что вот по этой-то линии и проходит мой личный маленький разлад со страной, в которой живу.

– Эта страна не признает религию.

– Уверены? Вы рассказывали, как непросто сложился для вас конец декабря. А вот у меня все ровно наоборот. Съездил в Москву в последних числах, и год грядущий уже носился в воздухе... Знаете, в этом сытом, купеческом городе новогодние нотки проявляются как-то по-особенному. Есть что-то полуязыческое, даже полурелигиозное во всеобщей предпраздничной суеде. Спешил по Ордынке к товарищу, везде люди, снующие, как в муравейнике, везде очереди, а еще эти свертки в руках... Но, как ни странно, именно в этот-то момент, среди безусловного торжества плоти, я и поймал рождественскую ноту. Люди в конце декабря – они ведь даже не живут, а будто замирают в ожидании грядущего чуда. В этом, несомненно, есть что-то рождественское. И сколько бы все эти люди не отрицали, как вы утверждаете, религию, но она живет в их душах, пусть и глубоко запрятанная. Кажется, я один только и понимал. Это было торжествующе такое одиночество, когда из всей толпы ты один лишь и смог ухватиться за сияющую нить, уводящую в небеса... Слова начали складываться в строчки и не то чтобы религиозный экстаз, но, Марина, – тут он быстро взглянул на нее, – тот стих словно предвестник. В тот миг я и сам был исполнен надежд, чувствовал – вскоре что-то произойдет, что-то непременно будет...

– Так прочтите, – сказала Марина, оглянувшись. Они довольно далеко ушли в старый город, где-то там за крышами был ее дом.

Бродский сразу же уверенно вошел в первую строку – читал иначе. Декламировал почти отрешенно, ритмично чеканил слова, будто подстраивая их под свой шаг. В его стихе была прозрачность московского вечернего воздуха, такси, выворачивающее из-за угла, девушка-красотка, одетая легко, идущая поспешно.

Если бы кто заметил их с другой стороны канала, он увидел бы две фигурки в чуть подштрихованном снегом ночном воздухе. Женская – в четком наброске пальто, чуть выше мужской. Лоб спутника задран вверх, отчего кажется, что голова рвется в небеса. Она все больше молчит, а он читает и читает, по энергичному движению подбородка чувствуется отбиваемый ритм стиха.

– ...как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево, – закончил он. И тут же спросил: – Ну как стишок?

– Очень хорошо, – сказала осторожно. Еще не определилась с отношением к этим необычным стихам – скорее, покорила энергетика текста, чем слова, в нем заключенные. Бродский сухо кивнул, и Марина почувствовала необходимость добавить:

– Я не великий ценитель, уж не ждите от меня разбора. Я простой художник, здесь моя стихия...

– А я и не требую, – сказал он. – Хочу лишь сказать, Марина, что такие-то вот стихи я и хочу писать. Только такие. Другие – не смогу. Но знаю, что этот стих мой не будет издан никогда. И другие тоже. Почти все, что пишу – не будет издано. – Помолчав, добавил: – В этой стране.

И вновь мост со львами, теперь уже крылатыми, и от безмолвного взмаха этих крыльев над их прогулкой нависла, кажется, тень: то ли властный зов домой, то ли что-то еще. Остановившись, Бродский негромко, поспешно начал очередные стихи:

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих

в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами...

Марине стало тревожно и холодно. Повернулась лицом к нему – почуялось, что где-то вдали, за его плечом, начинается или вот-вот начнется сильный снегопад. Поведя плечами, оглянувшись назад, на немалый пройденный путь, она сказала, и сказала искренне:

– Прекрасные стихи. Прекрасные.

Он странно, как бы неодобрительно, замолчал. И тогда она поспешила добавить, вплела ленточку лести в речь:

– Это лучшее, что вы мне сегодня прочитали, Иосиф!

Не сговариваясь, пошли обратно. Шли молча, будто закончились слова, и только потом, шагов через двести или триста, он откликнулся:

– Да, стихи прекрасны. Вот только они – не мои.

Смутилась.

– Чьи же? Простите...

– Бобышева. Это мой друг, тоже поэт, известен в списках... Знаете такого?

Бездумно ответила:

– Нет, не доводилось.

Сказала это легко, почти уверенная в тот миг, что и не доведется никогда.

Они пришли к ее дому, но, с другой стороны, словно бы завершая круг. Окна были темны. Остановилась у своей парадной, взглянула на спутника стеснительно.

– Уже пришли? – спросил. – Это и есть ваш кров?

– Мой.

Окинул фасад дома страстным, оценивающим взглядом, словно готов был прямо сейчас вскарабкаться, в испанской манере, к ее балкону – если бы тот существовал. Уцепился взглядом за лепнину, украшающую стены: рожица с разинутым в ужасе ртом соседствовала с другой – улыбающейся особой с курьезно повязанной над головой прической:

– Этот дом, я бы сказал, вызывает к драме.

– Вы про маски?

– Одна смеется, другая предвещает ужас... Какую выберете?

– Только не ужас, – усмехнулась. – Устала.

– Ну так смейтесь громче, – сказал шутливо. – Весь ужас я беру на себя!

Не отпуская, он продолжал жадно осматривать стены, окна и даже пространство выше.

– Какие окна ваши?

– Третий этаж.

– Слышал, дом у вас закрытый, пускают не всех.

Улыбнулась:

– Верно говорят.

– И что, дескать, нужна рекомендация людей вашего круга.

– Считайте, вы ее получили.

– Ваши спят?

– Думаю, еще нет. Мама меня ждет.

– Волнуется, да?

– Нет, просто ждет. Такая, знаете ли, уютная родительская привычка – не ляжет спать, пока блудная дочь не вернется домой.

– Вот так, в темноте? – и почти возбуждено, выше тоном: – А это правда, что в вашем доме не приветствуется электричество?

Подумалось, что ему просто не хочется уходить, а надо, пора.

– В темноте, – ответила, – да. Это вам Боря успел шепнуть – про электричество? Будем прощаться, Иосиф.

И тогда он сказал – ожидаемо, просто, требовательно:

– Я все же хочу записать ваш телефон.

Невольно оглянулись оба – в ту сторону, откуда пришли. Там, в неясной дали, за крышами домов, была вдавлена в небеса темная громада дома, откуда час иди два назад они вышли в ночь и где, должно быть, жестоко страдал сейчас Боря – его друг и ее бывший друг.

– У нас нет телефона, – сказала Марина. – А давайте ваш? Я наберу с улицы.

Щурясь под тусклым светом фонаря, надавливая карандашиком сильнее, чем надо, она записала в своем блокноте номер его коммуналки – Ж-2-65-39. Сопроводив блокнот цепким взглядом, пока она укладывала его в сумочку, Бродский сказал с нервным смешком:

– Если скажут, что меня нет, не верьте, требуйте брата Иосифа к трубке.

– А если вас действительно не будет?

Сказал уверенно:

– Этого не может быть. Я почувствую этот момент, я буду. Так позвоните?

– Идите. Вам пора, да и мне тоже.

И уже уходил, и силуэт его, размытый как на картине, уверенно обозначился у дальней кромки ночи – а она все стояла у парадной, высматривая его след. Смотрела взглядом художника на ночное полотно с одиноким путником, уносящим вдаль по снежку свои мягкие шаги. Словно бы важно зафиксировать в памяти и, может быть, после зарисовать – но в экспозиции произошла перемена. Торопливо шагая, Иосиф возвращался. Ошарашив отчаянным выражением лица, изрек:

– Так и не решился сказать. Ведь не первая наша встреча! Я вас уже видел!

И казалось, следует ждать банальности, а так не хотелось нарушать сложившуюся мелодику ночи. Спросила осторожно:

– Где же, когда?

– На велосипеде! – Помолчав, добавил с мечтательностью. – Как же хорошо, вот так, зимой, вспоминать лето. Вы катились на велосипеде... Возвращались с прогулки с Борькой, а я томился у его дома, условились встретиться...

Было неожиданным – это его возвращение. Слова, которые не подбирают, а что вырываются сами собой. Точнее даже – интонации этих слов, терпкие, страстные...

– Помню спицы в солнечном огне. Ваши ноги, белые носочки. Платье... голубое?

– Не знаю, может быть.

– Голубое, – сказал твердо. И добавил, как о решенном: – Совсем уже скоро будет весна. Поедем кататься вместе, да?

Если б стоял снаружи, он не увидел бы света в ее окнах: она вошла в прихожую, не включая свет, прошла на цыпочках по темному залу. Увидела белую коробочку на столе – постылый подарок от нелюбимого, —оставшуюся так и не тронутой. Кто-то услужливо сдвинул картонку к краю: угадывались повадки матери.

Не притронувшись к подношению, юркнула горячим телом в холодную постель, долго не могла заснуть. Широко и облегченно улыбалась во тьме, зная, что улыбку никто не увидит, не спросит – почему. Поэт ей понравился. Понимала это с испугом, ведь с момента разрыва с Тищенко – да что там, двух разрывов – прошло всего ничего. И когда совсем уже засыпала – трепетной рыбой из глубин сознания вновь всплыла та коробочка, мягко ткнулась в лицо... Подумалось: а вот и не открою. Никогда. Не открою, Боря. Прощай.

ПЕСНИ СЧАСТЛИВОЙ ЗИМЫ

1.

Снился дом в дальнем углу сада – один из тех, что можно увидеть лишь во сне. Невыразимо прекрасное в глубинах утренней дремы розовое жилище. Тонкие, полупрозрачные стены, за которыми уверенно угадывались тени – женские, мужские. Зыбкое строение из сновидений, в котором и не мечтаешь жить, на которое лишь можно смотреть – издали, замирая, едва дыша. Пробуждалась, однако, с нарастающим чувством восторга, уверенно понимая, что дом этот – явь; пусть и съемный, но свой угол у них теперь есть – и вот-вот она в нем проснется.

А уже проснувшись, долго не открывала глаз, всем телом ощущая блаженство. И хотелось, мечталось в этот момент, чтобы человек со сложным библейским именем – чувствовала, что он где-то здесь – смотрел бы сейчас на нее. Иосифа в комнате не было, но возник его голос, далекий, гулкий, с нижнего этажа, и это был точно уже не сон: «Ты уже проснулась? Да или нет? Спускайся, мы тебя ждем!»

С того темного ленинградского утра, так круто изменившего жизнь, минул год: вот уж и очередной, 1963-й, не за горами. Начало зимы выдалось счастливым, в первых числах декабря они окончательно перебрались в Комарово, на уютную академическую дачу – двухэтажное здание послевоенной постройки. К невообразимой радости Оси, дом сдавался в нагрузку с представителем местной домоводной фауны – важным, старым, полуоблезлым, но все же котом.

Год уходящий можно было бы счесть удачным, если бы не пара ложек дегтя: отношения с родителями не задалась, причем с обеих сторон. Особенно тяжело припоминался первый визит в комнаты на Литейном: в тот день ее, что называется, «знакомили». Помимо предков, Иосиф собирался представить Марину и друзьям: кого-то уже знала, других еще не пощастливилось – и последнее слово можно было бы уверенно брать в кавычки. В той толпе Марина и не надеялась стать своей. Слабо мечталось, чтобы к ней отнеслись лишь как одной из списка приглашенных: словно заявила со всеми заодно, заскочила случайно, просто лицо в человеческой веренице – уж отсидится за спинами...

Но конечно же, не срослось. С первых же минут оказалась в липкой паутине всеобщего обходительного внимания. Как же не любила такого, прямо до дурноты, но приходилось терпеть, терпеть. Огромная комната, декорированная в мавританском стиле: высокие потолки с лепниной, пилястры, выпуклые панели на стенах. Огромный стол, сдвинутый в центр, клокотал нарочитым, как ей показалось, весельем – старалась улыбаться и она. Почти ничего не ела, ловя на своей тарелке тяжелые взгляды хозяйки. Порой повисала тишина, к ней обращались с расспросами – сдержанно, вымученно отвечала. Не любила находиться в центре внимания, чувствовала себя, словно микроб под микроскопом.

В какой-то момент почувствовала словно бы приступ тошноты, вышла на коммунальную кухню, растерянно держа тарелку – синий якорь на эмали был поделен давней трещинкой. Будто эту посуду уже роняли – и ох как хотелось уронить, швырнуть блюдце еще раз! Стояла оглядываясь, собиралась как бы помыть, на деле же хотелось перевести дух. Не вышло: Мария Моисеевна почти сразу же заявила вслед. Зашумев водой, глядя в сторону, сказала отчетливо и громко: «Катенька, не утруждайтесь, оставьте тарелку... Я вымою сама». Попыталась было улыбнуться: «Я Марина!» – «Ох, простите меня, старую... Неделю назад Катя, теперь вот Марина». И соседка по коммуналке, бывшая в ту минуту на кухне, оглядев Марину с ног до головы, насмешливо рассмеялась.

А вот и его отец, крепкий пожилой моряк – они почему-то остались одни, но шумят голоса из соседней полукомнаты, куда увлек всех Иосиф. Родитель с некоей стеснительностью и вместе с тем уверенно, по-мужски, оглядывает ее формы, отчего-то про себя усмехаясь. Уронив пустую фразу, развернувшись, пошла на голоса. В ту минуту отчетливо поняла, что в доме Бродских не принята – и никогда уж не будет.

Сценка уже у своих – большая комната, чайные чашки на овальном столе: в гостях Иосиф. Напряженно сидит отец, слушая чересчур словоохотливого от волнения Осю. Куда-то вышла и многозначительно отсутствует мать. Бродский несет какую-то чушь – геологию он бросил, но пишет стихи, прекрасные перспективы, будет сборник. А пока зарабатывает на жизнь переводами! Отец продолжает молчать. Даже ему, далекому от литературных кругов, все это кажется ерундой. Под конец Иосиф встает, начинает нервно расхаживать, покрасневшийся, все еще пытаясь кто-то убедить; зачем-то роняет фразу, что в синагогу он ни ногой, и, вообще, еврей из него никакой...

Мать явилась лишь к уходу Иосифа; улыбаясь одними губами, облегченно следила глазами, как одевается: «Уже уходите? Так быстро?»

Проводив гостя, отец, не глядя на Марину, сразу же удалился в свой кабинет. Мать лишь спросила, с легкой брезгливостью: «И что, как долго эта ваша связь продолжается?» Марина не отвечала, не спорила, не задавала вопросов – было ясно, что их отношения не приняты и с этой стороны.

Иосиф весь год ожесточенно учил английский, и как-то повелось, что себя он обозначил Джозефом, ее же нарек Мэри. По поводу неудавшегося визита сказал:

– Знаешь, Мэри, вот ведь странное чувство: твой папаша смотрел на меня так, как смотрит и мой!

– Как же?

– Да как на пустое место!

Запротестовала, понимая, что требуется сказать что-то веское, опровергающее – но как же трудно отвергнуть мнение сразу двух отцов. Иосиф наконец был прав – папа так на него и смотрел. Бормотала невнятное: родителям свойственно проявлять настороженность к личной жизни своих дочерей, «но это пройдет, вот увидишь»... Иосиф недоверчиво выслушал, кивнул и подытожил: «И знаешь, он точно не в восторге, что твой ухажер – еврей».

Все это время было желание куда-то уехать, бежать – на улицы ли города, за его ли пределы, – чтобы хоть ненадолго ослабить родственные узы, сдавливающие хрупкое горло их любви. Вспомнилось зимнее путешествие во Псков: они идут с Иосифом по льду через заснеженную реку, следом – один из его приятелей, напросившийся в поездку в последний момент. Один из немногих, с которым у Марина действительно налажился контакт. Но ведет он себя странно – то забегает вперед, то почти теряется в их снежных следах. Бродский громко ведет спич о поэзии: «Поздняя поэзия Древнего Рима, как ни странно, в чем-то созвучна нашей... Хотя бы тем, что и в том, и другом случае это поэзия двух великих империй в период могущества – но могущества перед закатом». Произнося эти слова, он затейливо кривит шею – обращаясь и к подруге, и к другу одновременно, оставшемуся за спиной; ведь должен быть услышан и в ближнем пространстве, и в дальнем... Она же рассеянно думает о своем, об этом чудном товарище – всю дорогу поглядывал на нее затаенно, уж не влюблен ли?

Приятель все-таки их нагнал, хмурит брови, прислушиваясь к монологу Оси, нарочито не глядя в ее сторону. Вдруг яростно вклинивается в речь: «Одинакова? Чушь собачья!» Молодой спор, впрочем, стихает также внезапно, как и был начат. Вот уже, исполнившись друг к другу дружелюбия, они коротко и безжалостно перебрасываются словами: «Ну что, теперь к вдове?» – «К вдове!»

Помнит комнату какого-то рабочего общежития. Женщину, устало прилегшую при них на койке, похожую больше на беженку, чем на вдову Мандельштама. Она много курит – и это

едчайший «Беломорканал». На вопросы отвечает сухо и односложно, и ждет, кажется, одного: когда визитеры уберутся. Спросили про рукописи, остались ли – лишь неприязненно пожала плечами. Внешне хозяйка выглядела совершенно безучастной – к убожеству обстановки, к ним, молодым гостям, «студентам», невольно ставшими очевидцами ее бытового дна.

После – возвращение из Пскова, и вновь скандалы; но ведь так сложно было не реагировать на змеиные, вкрадчивые реплики матери («Тебе не кажется, что у него совсем нет будущего?»), на солдатскую прямооту отца («Не пара он тебе! Не пара!»).

В какой-то мере это сделало неизбежным случившееся дальше, всего через несколько недель, на исходе городской осени. Они на прогулке: солнечный день, оба ярко одеты – Иосиф в элегантном пальто и мягкой шляпе, она в бордовом с коричневым колонковым воротником, сидевшем на ней как влитое. Уже возвращались, подходили к ее дому, как Иосиф, вдруг что-то вспомнив, метнулся к телефонной будке. Набрал номер, заговорщицки поглядывая на Марину. Когда автомат проглотил монетку, Иосиф сказал в трубку всего два слова:

– Джейкоб, привет!

Сказал это, чуть рисуясь перед Мариной, будто играет сейчас роль в цветном заграничном фильме, где некто Джозеф в дорогом пальто звонит какому-то Джейкобу. Долго слушал невидимого собеседника, который, очевидно, докладывал важное. В конце разговора, нетерпеливо замахав рукой, жестами выпросил у Марины клочок бумаги. Чуть замаявшись – калечить эскизник у художников считалось дурной приметой – все же вырвала из него листок. Иосиф, преувеличенно кивая в трубку, что-то быстро в нем записал.

Закончив беседу, удовлетворенно взглянул на записку, быстро спрятал бумажку в карман. Взглянул на Марину загадочно, давая понять, что все это имеет прямое отношение к ней:

– Ну вот и все. Готово.

– Что именно? Кому ты звонил?

Но, лучась восторженной улыбкой обещания, Иосиф таинственно молчал.

И было ощущение чего-то переломного, какого-то счастья, что вот-вот нахлынет – но она все еще не понимала. Не понимала, когда привез ее на вокзал, и они отправились куда-то на электричке. Не понимала, когда шли по подмерзшему лесу, зябко подобравшему к небу ветви, и она посматривала на стоявшие меж стволов дома – а они были в Комарово, – такие старые, будто выросли здесь вместе с деревьями. Думалось, что он ведет ее в гости. К Ахматовой? Давно обещал познакомить – но, по большому счету, в тот момент было все равно. Шла за ним послушно, бездумно, просто наслаждаясь тем, что ее куда-то уверенно ведут.

Почти буднично прошли мимо забора, за которым угадывался дом с розовыми стенами, прошли как два самых обычных, озабоченных своей тропой пешехода. Прошли, как проходили до этого мимо сотен и тысяч других домов – в этом ли поселке, в других ли местах – но, рассмеявшись, он вдруг остановился. Взяв за плечи, развернул лицом к жилищу. Бросилось в глаза, как необычно, как радостно и нарядно оно выглядит. Просто и важно Иосиф сообщил:

– Знакомься, Мэри, наш первый дом. Здесь мы будем жить!

Смотрела на дачу недоверчиво – как все еще посторонний этому жилищу прохожий. Не верилось, что их скитания по закуткам привели сюда: просторное двухэтажное строение с застекленной верандой, огромный участок, на котором приветливо толпились молодые сосны. Отметила, как ладно звучал адрес – Комарово, улица Комарова («академика» можно опустить), дом один.

Дом будто врос в лес. И при этом рядом – начатки цивилизации: калитка глядела на пыльную клумбу, в кольцо асфальтовой дорожки; в этом месте хорошо бы смотрелся гипсовый пионер с горном. Отсюда в разные концы поселка разбегались пять дорог. Или же сбегались: задержавшись у калитки, Ося горделиво отметил:

– Видишь? Какое удачное расположение! Все дороги ведут к нам!

Дом оказался пуст, ключ таился в условленном месте, под коробкой, старинный, потертый, с латинскими буквами на кольце, будто жилищу было лет сто, не меньше. Огромная прихожая, слева две комнаты, справа гостиная с кухней, лестница, уводящая на второй этаж. Прямо из гостиной двустворчатые двери уютно открываются на холодную застекленную террасу.

Не раздеваясь, даже не разувшись – «в Америке так не делают, Мэри!» – Иосиф хозяйски выхаживал по помещениям. Все же разувшись, она пыталась пойти вслед, за шумом уверенных шагов, но сразу отстала, как-то забылась в комнатах дачи – множась будто бы прямо на глазах. Впрочем, женское чутье быстро вывело в гостиную, соседствующую с кухней: просторное помещение с двумя диванами вдоль стен, один изрядно продавлен. Задержалась у трехстворчатого трюмо, оглядывала его внимательно, с легкой ревностью: чья-то помада, румяна... Сказал, что это будет их дом, но тут следы какой-то девицы... Квадратный стол посередине, накрытый опрятной скатертью, пара истрепанных томиков. Машинально взяла в руки – «История Древней Греции и Рима» Гуревича. И такое же дореволюционное издание Куна «Что рассказывали греки и римляне о своих богах и героях». Тут же тетрадка с выписками – явственно возник образ человека, готовящегося к экзаменам.

На стене – большая репродукция Вермеера: девушка, читающая у окна письмо. Рядом, приглашая к чтению иного рода, буднично прищиплен листок с машинописью, заголовок гласил: «Дачные правила».

Что ж, в этом доме наличествовали и правила.

Не поленился же кто-то, перепечатал на машинке текст из томика Чехова, буквы подразмыты – вторая копия перепечатки или даже третья. Верхняя фраза списка подчеркнута красным карандашом: «нигде нет столько опасности сочетаться законным браком, как на чистом воздухе». Невольно улыбнулась: сразу вспомнилось лето, мальчишка Иосиф, предлагающий себя в мужья.

Перешла на кухню с маленьким столиком для готовки придвинутым к нему стулом с забытой на спинке клетчатой рубашкой. Чайник на плите – показалось, что еще теплый; тронула рукой – так и есть. На этой даче определенно живут. И даже едят: из женского чулка, подвешенного за шкафчиком, интимно просвечивают луковицы. Под столом – фанерный посылочный ящик, доверху наполненный картошкой.

– А дачка-то – ого-го какая! Здесь, наверху, еще две комнаты, – крикнул Бродский, голос его звучал приглушенно, откуда-то сверху. Похоже, всю уже осматривается на втором этаже. Через минуту, куда-то переместившись, голос добавил: – Знаешь, здесь мы будем одни! Ну почти...

– Почти? Это как?

– Точнее, не совсем одни. Но наша комната лучше. Все же второй этаж. Виды, перспектива – хоть сразу за пейзаж садись! И вот что важно: если перейти через железку, то там, буквально через несколько домов, ты найдешь и великую старуху на троне!

Ахматову Иосиф называл за глаза именно так – со значением, и словно бы с большой буквы. Но сквозь трепет обожания пробивалась и нотка насмешливости – как у многих молодых перед стариками. И было в этом что-то еще, кажется, поэтическая ревность. Ведь она – глыба, пусть и в стороне от литературных дорог, но сам он – никто.

– Так она здесь? Будет приезжать?

– Это вряд ли, – сказал Иосиф, – зимой в Комарово ни ногой. До ужаса боится сквозняков, а дачка у нее – одно название. Будка и есть!

Марина чувствовала разочарование: хотелось уже познакомиться, хотелось ее рисовать. Мерила шагами нижний этаж, и все сильнее возникало ощущение, что здесь кто-то давно и плотно обжился, – словно они вторглись без разрешения в чужую жизнь. Вот две пары туфель

в прихожей – и одна из них, конечно, женская – смотрят уверенно мысками в сторону двери. Крикнула в гулкую пустоту:

– И все же. Кто наши соседи?

Молчание на втором этаже. Она добавила:

– Знаешь, зимой верхние комнаты на таких вот дачах – самые холодные.

– Джейкоб. Нашим добрым соседом будет Яша Виньковецкий, – наконец ответил он.

– Хозяин?

– Нет, тоже снимает. Славный парень, художник, большое будущее!

Фраза из пространства дальних комнат прозвучала как-то автоматически, обреченно.

Должен, должен верить в будущее, в своей стране, но не верит – ни в его, ни в свое собственное.

И через паузу:

– Холодно?! Да ты посмотри, какая тут роскошная печь!

Печь была и в самом деле внушительной – с изразцами, уходящими на второй этаж.

– Так чья это дача, Иосиф?

– Ну какая разница?! – сказал с возмущением, почти прокричал и тут же сдался: – Бергов.

Раиса Берг, известный академик, как и ее папаша. Дружна со старухой. Собственно, потому-то мы и здесь.

Наконец, показался на первом этаже и сам, уже без пальто.

– Скажи-ка лучше, где этот твой Джейкоб? Почему не встречает гостей?

– Приедут только завтра. Вот, смотри, нам уже пищут, – он протянул открытку.

Прочитала вслух:

«Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома, – фраза подчеркнута. – Ждите завтра».

И да: написано было, без сомнения, женской рукой. Что ж, мило. Приветственно.

– Так он с женой?

– Динка, славная девочка... Нет, они не расписаны. Но пожалуйста, не затрагивай в разговорах данный вопрос.

– Конечно, не буду. С чего ты взял?

– Болезненная для них тема, и весьма... Дина напирает, жаждет определенности. Джейкоб готов уж вешаться.

А вечером появился тот самый кот – замаякал по-хозяйски у двери. Когда отворили – пушистым ветерком устремился на кухню, не смущаясь незнакомых людей, – и совершенно растроганный Иосиф бросился за ним вслед. Там, на кухне, он гремел какими-то тарелками, вскрикивал, счастливый: «Нет, ты только взгляни, взгляни на этого наглеца! Мэри?!»

В первую ночь на даче Иосиф, вымотавшийся за день, за какие-то мгновения сдался сну. Марине же не спалось. Спустилась на первый этаж выпить воды – в геометрии ночных теней гостиная с примкнувшей к ней кухней предстала иной, и будто знакомилась вновь. Явился из тьмы, ткнулся с урчанием в ногу и вновь растворился в темноте кот. Снова книжки с римскими мифами, особо выпуклые в ночном свете и будто бы сдвинутые кем-то к краю стола (конечно же, показалось). Присев на диван, пила задумчивыми глотками из бокала с полустертым серпом: Осе понравилась бы его полустертость. Серпы в этой стране – они везде, но этот словно бы неживой. Подумалось о молодом художнике, обитавшем здесь с подругой – он казался мифом; почему-то сложно было представить, что в некий день у этого стола они сойдутся лицом к лицу.

И вот еще что. Какие истории, какие мифы ждут здесь ее саму?

2.

Переехав в Комарово, Марина наконец-то почувствовала покой – впервые за последние годы. И можно уверенно говорить, что обрела она его именно здесь или, если быть точным, дом стал веской тому причиной.

Впрочем, ощущение спокойствия пришло не сразу – не в тот первый день, когда осматривали дачу, и она постепенно свыкалась с мыслью, что будут здесь жить. Впервые – вместе. Впервые – в еженощной слитности тел: она будет гасить по вечерам лампу, а потом проскальзывать под одеяло к своему мужчине, в их постель у темного окна. Это спокойствие явилось к Марине и не на следующий день, когда, проспав назначенный час – сказалось отсутствие будильника – после суматошного бега по лесу они упустили комаровскую электричку: первое из славной череды их последующих опозданий. Казалось бы, какое отношение утренняя беготня может иметь к умиротворению, но нет, нет: несмотря на всю свою суетность, сценка на станции, в общем-то, была такой будничной, по-своему семейной, влекущей в покой.

Но обрела она его, это спокойствие – все же позже, позже.

На дачу Бергов они вернулись через неделю, уже с вещами, уладив последние формальности. Главной из которых, лично для нее, стала необходимость унять грандиозный семейный пожар, вспыхнувший от известия о переезде дочери в самостоятельную жизнь: в Комарово, да еще с Бродским. Мать сразу в крик, обида на два дня, но потом принятие и покорность. Отец весомо поддержал супругу выразительнейшим молчанием, но, когда провожал Марину на вокзал, сдавать дочь на руки другому мужчине, был почти спокоен. Общались как в прежние времена, словно и не было в ее жизни никакого Бродского. Марина не скрывала радости: не могла, не могла она уехать в свои дачные приключения со скандалом!

Впрочем, в Комарово в тот день они с Бродским попали разными поездами. Так было договорено. Ося уехал «оп гесоп», или на разведку, еще утренним составом (к вящему облегчению отца, категорически не желавшего пересекаться с «женишком» на вокзале), Марина же в свой путь отправилась ближе к вечеру. В электричку вселилась как праздная туристка, чемодан на полу, сумка на сиденье рядом. Вагон был неполон, наискось сидела дама лет сорока, одна из тех, что обменяла свою красоту и молодость на двух стремительно подрастающих детей. Отпрыски, побросав верхнюю одежду на сиденье, поднимая галдеж, толкались у подмерзающего окна, а женщина, замерев, будто выпав из пространства, смотрела на сыновей с тихой сосредоточенностью. Смотрела недоуменно, смотрела так, словно летняя электричка утром промчала ее молодой, а вечером возвращает в зиму уже с двумя детьми. Поезд замедлил ход, подъезжая к очередной станции. Мальчишеский гвалт усилился, они радостно запрыгали у окна: вслед за составом бежали к перрону, на последнем дыхании, две хорошо укутанные тетушки – веселясь и уже понимая, что, наверное, успеют.

Раскрылись двери. Брезгливо оглядывая места, в вагон вошла девушка. Следом женщина под пятьдесят – теплый спортивный костюм не скрывал хорошо сохранившейся фигуры – она вела на поводке мускулистого пса, и тот, конечно же, сразу сцепился с кинувшимися к нему пацанами. Хозяйка животного с трудом оттащила своего подопечного, мать же почти не шелохнулась.

– Внимание, маневры четные, – провозгласил над станцией женский металлический голос, прохладный и отрешенный.

И кажется, здесь-то, в минуты, пока стояли на станции, Марина и почувствовала, как рядом словно бы кто-то присел. Как что-то ее обняло – невидимое, теплое, мужское. И она приникла к этому бесплотному плечу, ощутила поле долгожданного, дорожного – дорожного ли? – покоя. Она уже едет. Вот ее чемодан. Скоро она возляжет с Иосифом, и не нужно будет заводить будильник на утро. Им словно бы удалось отгрызть у времени свой собственный кусочек вечности – и теперь можно просто замереть.

Поезд тронулся. По другому пути, плавно набирая ход, их стала обгонять другая электричка. У окон – люди с желтыми, измученными лицами, словно запертые в железной клетке без права выхода. Гикнув, соседний состав ускорил бег, увозя своих пленников – и Марине на мгновение показалось, что среди его усталых пассажиров были и они с Иосифом: из той, прежней версии себя.

Бродский ждал ее на перроне. Огромный тулуп до пят, из-под которого торчали еще осенние ботинки, нелепо-торжественная осанка, при этом без головного убора – Иосиф напоминал одного из дореволюционных станционных смотрителей, что встречали поезд из Петербурга. Стоял, не шелохнувшись, цепко всматриваясь, перебирая взглядом замедляющиеся окна электрички. Дернулся было, когда Марина шагнула из вагона – под ногами хрустнул первый зимний ледок – но пересилил, пригвоздил себя к перрону. Сразу возникло ощущение – что-то задумал. Был подчеркнуто недвижим, пока шла к нему – нарастающее возбуждение выдавала лишь ширящаяся по мере ее приближения улыбка. В глазах витает какой-то вопрос. Чмокнулись, но чопорно, неловко, будто за ними наблюдали, и им было должно исполнить сцену приветствия. Быстрым шагом, почти без разговоров, в каком-то чуть ли не супружеском согласии – будто свершали нечто привычное, ежевечернее – отправились по протоптанной тропинке от станции к даче. Им встретился лишь велосипедист, неожиданный в этом декабре, проскользнувший вдали, в столах дерев – бесшумно, как тень собаки.

Проследил глазами ездока, Иосиф наконец выдохнул:

– Можно спрошу?

Значит, правильно показалось – встречал с вопросом.

– Ход моей мысли покажется тебе идиотским.

Иосиф будто бы даже заелозил под тулупом, готовясь к следующей фразе:

– Что тебя ко мне привлекло?

Марина смешалась – и более от насмешливой резкости, с какой вопрос был задан. Такое у него бывало – приправить серьезность перчинкой насмешливости, сбить неожиданный пафос. И ведь никогда прежде не задавался ничем подобным. Ей вообще казалось, что для Иосифа их отношения были словно бы данностью, словно бы predetermined.

– Ответишь? Давно хотел спросить.

И хотелось сказать – отчаяние. Бежала от двух, прибежала к тебе. Но опустила, даже отпустила, забыла фразу навсегда – ведь обидится. Ответила, как бы шутя:

– Мне показалось забавным.

– Что именно?

– У тебя нет образования. Да и у меня. Два просвещенных неуча. Их толпа, мы двое – и стоим в какой-то далекой от них стороне. Поначалу мне казалось это смешным.

– А потом?

– А потом – залипла.

– Влюбилась?

– Залипла, залипла.

Усмехнулся недоверчиво, затих на оставшийся путь. И что же он хотел услышать? Ведь глупый, право, вышел у него вопрос.

На зимней даче все было готово к торжеству: натопленная печь, Виньковецкий со своей подругой, уставленный тарелками стол. Был даже кот, серым пунктиром скользнувший под ножку стола и тут же растворившийся в пространстве. Невысокая, ладная девушка выпорхнула навстречу, как выбегают на сцену. Кокетливо выгнула ладошку:

– Киселева! Дина.

Пробило легкой искрой от соприкосновения рук.

– Диана. Это Диана, – сказал сзади Ося, принимая у Марины пальто. Сказал приглушенным голосом, явно любуюсь.

– Охотница, – не без дерзости изрек высокий молодой мужчина, проявившийся рядом с девицей: как догадалась Марина, это и был тот загадочный Джейкоб из телефонной трубки.

3.

На правах старожила застольем правил Джейкоб. Выставив на стол бутылку шампанского, грозно шагнул в темный проем соседней комнаты за бокалами – в темноте жалобно звякнули дверцы серванта. Не без укоризны взглянув на Диану, начал энергично их протирать. Та встрепенулась: «Давай я!» – «Оставь, я сам». Снимая фольгу с игристого, скептически, косо взглянул на посудину водки с бело-зеленой этикеткой, что успел было выставить Ося. Шипучку забыли охладить, словно бы с наслаждением рванулась она из горла – едва успели подставить бокалы.

Диана вела себя игриво, будто слегка пьяна – вдруг куснула себя за руку, облитую вином, после и вовсе ее облизала. Потянувшись к Басмановой, с наслаждением принюхалась и к ее рукаву, мокрому от игристого:

– Чувствуете, как пахнет? И ведь даже не шампанским, нет. Новым годом! Скоро – Новый год! Новое время! Ура!

Победный клич повторил за ней лишь Иосиф. Яков молчал с выразительнейшей нервной ухмылкой. Марина чувствовала себя не в своей тарелке от скрытого противостояния, разгоравшегося на ее глазах. Пожалела, что не крикнула «ура» вслед за девушкой, ведь действительно – сразу дохнуло праздником. И не столько даже от пролитого шампанского, сколько от беззаботного поведения Киселевой.

Выпили шипучего, закусили вкуснейшим салатом – горячая картошка, постное масло с луком, помидоры. Рецепт был местный, комаровский. «Келломяковский, – вставил Иосиф, давая понять, что он здесь вполне уже свой, – едал я этот ваш салат, и не раз». Изобрел его один из здешних обитателей – «мы вас к нему обязательно сводим, у него еще вкусней выходит»

– Не ходи, не советую, – опять вклинился Ося. – Мутный тип!

На него зашикали:

– Ты все попутал. То не Гитович, а Лихачев!

– К Лихачеву можно. Да я и сам тебя к нему свожу, пожалуй.

После салата, опустив суп, «еду пролетариата, my friends, но не поэта», ожидаемо перешли на котлеты, которые так любил Бродский.

– Оные, заметь, тоже едва ль являются трапезой аристократа, – ехидно заметил друг.

– Отчего же? – быстро возразил Иосиф. – Пожарские котлеты, что подавали в трактире под Торжком, воспеты самим Пушкиным.

Под мясное сам Бог велел перейти на водку: московская, особая, предпочитаемая Иосифом. На осторожный девичий вопрос: «А можно, после шампанского-то?» был уверенный ответ, в два мужских голоса: «На повышение градусов – можно». Все же опасаясь утренних последствий, несколько глотков сделала и Марина. Сидела сытая, томная, захмелевшая, снисходительно поглядывала на стремительно пьянеющего Ося. Не любила его во хмелю, все эти начинающиеся бравады, но сегодня – пусть, пусть.

Меж тем назревал диспут:

– Свобода – это частичка власти, которая у тебя есть, – повышая голос, вещал Иосиф. – Власти, которая наделяет тебя правом ответственности за ситуацию на землях, где обитаешь. Если нет этой малой частицы власти, нет ответственности, если за тебя решают другие – ты не свободен. Это означает, что частицу твоей власти присвоил кто-то другой. И именно он решает, как тебе и жить.

– Но жизнь – игра!

Джейкоб выглядел благодушным, даже расслабленным. Кажется, он был расположен более играть в слова, чем спорить ими всерьез. Бродский отвечал, не задумываясь:

– Свобода в таком случае – это право участия в установлении правил игры. Если ты к этому непричастен – ты несвободен. Ибо твою судьбу определяет кто-то другой, – и настойчиво повторил: – Другой, другой!

В дыму спора и сигарет Ося пытался выглядеть внушительным, но на деле смотрелся смешно: от алкоголя в движениях его рук начинала сквозить подростковая резкость – и эта будто бы незрелость в членах трогала. Совсем еще мальчишка. Мой, мой мальчишечка!

Кто-то коснулся ее плеча, она увидела неожиданно трезвые и серьезные глаза Дины:

– Может, на воздух? Подышим?

Завернулись в два огромных овчинных тулупа, нашедшихся в прихожей, со знакомым еще со станции кислым запахом. Диана крутанулась перед зеркалом, и Марина невольно залюбовалась девушкой – была в ней природная юркость, кошачья ладность движений. Вышли на крыльцо – в первых ошметках снега, помеченных уже лапой кота. Спутница взглянула на нее, на себя – и покатила со смеху:

– Да мы тут с тобой, как две овцы на морозе!

Так и перешли на «ты». Почти внезапно Киселева произнесла с горечью, практически вывалила на нее:

– Едва добилась, чтобы прибыть к вашему новоселью. Яшка не позволял. Представляешь? Тут Иосиф с любовью всей своей жизни. И нет, ты не отнекивайся, все так говорят! Все! А Яша мне: «Твое появление будет не совсем уместным». Нет, каково?

– Вы разве не вместе живете?

– Я тут только наездами! Мечу территорию, как могу! И всегда нужно договариваться с Яшкой. Заявляет мне вчера: им-де, возможно будет не совсем удобно! И обрати внимание на это слово: возможно! Он даже не знает точно. Разве я вас как-то смутила?

– Нет-нет, нисколько!

– Вот! И мне так кажется. Никак не пойму, то ли это от его природной чрезмерной деликатности – склонен додумывать за людей то, чего у них и в мыслях нет? Или же неудобная на этой встрече для него я сама?

Задрожав телом, сбежала с веранды: «шампанское рвется на выгул!» Без смущения заголив ноги, с наслаждением присела тут же, у куста мерзлой травы. Спросила мечтательно, громко:

– Твой-то зовет замуж?

И была в таком поведении недоступная, но приятная для Марины легкость. Доверчиво откликнулась, подстраиваясь под простоватые интонации ее речи:

– Зовет!

– Мамка его не встречает?

Задумалась, вспомнив и вновь пережив неприятную сценку на коммунальной кухне.

– Полагаю, Мария Моисеевна против. Да и Александр Иванович тоже, конечно.

Динка вернулась к ней на веранду, встала рядом, плотнее укуталась в тулуп.

– Значит, Оська готов остепениться, – сказала с двусмысленным хохотком. – Это хорошо.

А ты?

Марину утомляла уже беседа, нежданно перешедшая к личному. Продолжать ли? Но ведь и развернуться теперь нельзя – обидится. А если продолжить – начнется ненужный разговор, где, вероятно, ей нужно будет оправдываться, пояснять свою позицию.

И это было сложно.

Иосиф еще с весенних месяцев звал ее замуж – растерянная, не знала, что и отвечать. Поначалу в шутиливом тоне – удавалось шуткой же и отбиваться. Но затем неожиданно и как-то нелепо сделал ей предложение – и сделал всерьез. Летом, на прогулке, на которую заявился в лучшей рубашке, в самый разгар зноя. Стояли на берегу канала, он бледнел, запинаясь, обли-

вался потом – выглядел жалко. И она ему, разумеется, отказала. В конце прогулки, прощаясь, уточнила: «Давай оставим на потом все эти матримониальные планы? Хорошо? Мир?»

Он бы повторил свое предложение вновь, да и почти это сделал – но оборвав его, оборвав почти грубо, настояла быстро, пока не успел обидеться: она ответит. Даст ему знать – и это будет скоро, скоро. И намекнула, что решение будет скорее положительным – да, положительным. Но до этого дня молчок, хорошо? Не нужно уныло бомбить предложениями, не терплю. Ты ведь это понимаешь, да?

Его попытки понять, хотя бы приблизительно, когда она озвучит решение – через месяц, два, через год – решительно пресекала, но только потому, что нечего было отвечать: и сама еще не понимала, не разобралась в себе.

Нет, любила.

Но отказала, не раздумывая: рано, рано им было переводить свою любовь в режим семейного быта и дразг. Да, Иосиф – не время впрягаться в это постылое, равномерное ярмо супружеской жизни. Ну и родители: не начинать же войну, в конце концов, сейчас она просто не готова.

И все же много размышляла об этом вероятном замужестве – было так чудно для нее, непонятно. Не видела себя женой. Вот никак. Совершенно! Хотелось любви – но не мужа. Боялась лишь одного: как бы отказ не осложнил отношений...

Но обошлось.

Нет, понимала, что когда-нибудь выйдет замуж. Но сейчас ли и, в конце концов, за него ли – что будет с чувствами поэта, по слухам ветреного, через год? У них есть решительно все, какое-то счастливое равновесие в отношениях. И брак – да что угодно, любая сильная перемена в жизни – это такая вещь, что способна лишь нарушить баланс.

Но вот осенью, перед переездом в Комарово – забрезжило.

Словно бы проснулась однажды, словно бы услышала дальний зов – возникло вдруг чистое, ясное стремление стать женой. Вступить в брак вот с этим смешным нервным поэтом. Несколько дней прислушивалась к себе, изумленной – желание не проходило, пожалуй, даже усиливалось. Она не без веселья взглядывала на Осю, наслаждаясь переменой в себе, такой для него долгожданной – и его неведением. «Что? Что ты так на меня смотришь?» – спрашивал он. – «Нет-нет, ничего!» – отвечала с внутренним смехом.

То-то будет для него новость.

Сразу решила, что ничего ему говорить не будет. Наслаждалась этим новым чувством в одиночку. И наверное, ждала какого-то момента, торжественного, может быть, особого – ну не вываливать же это на него буднично, за ужином... О, нет-нет, только не за ужином, не в будний день, и не вот так банально. Это должен быть день особый, памятный! Но и сама еще не понимала, какой...

А вообще, свадьбы хотелось – майской. Маяться всю жизнь не боялась – ох уж эти мещанские предрассудки. Но хотелось вот этой ясной прозрачности воздуха. Хотелось тепла: уже настоящего, но еще первозданного. Тепла, только-только нахлынувшего на город – а не того обрыдшего, как это бывает летом. Когда с благодатью впитываешь в весенний день солнечный жар всей кожей, уверенно понимая, что щедрости светила в этот год будет еще много. Хотелось синего неба над головой, хотелось какой-то выющейся под ветром фаты... Хотя нет, не будет этой глупой фаты. Не знала ничего о своем наряде, не думала еще, но фаты – мещанство! – точно не будет.

Не знала еще, когда ему скажет, но знала другое – в следующий год, в мае, они поженятся. Но прежде, прежде – должен быть момент. Это будет какой-то особенный день. Будет порыв. Искра – пьянящая, бьющая в голову. Бросится к нему. Захочется обнять. Вот тогда-то и скажет ему заветное «да» – но пока сама даже не знает, когда будет этот день...

Вот как было у них с Иосифом. Непросто. Многослойно.

И как это объяснить своей собеседнице? Да и надо было ли? Сказать ли ей что-то вроде «я еще не готова»? Стояла, обдумывала, подбирала слова... Кисилева поняла это, кажется, по-своему:

– Не думала, что скажу это про своего Яшу, но должна, должна сказать...

Сделала паузу и огорошила Марину:

– Зря вы сюда приехали!

– Это почему еще?

– Опасайтесь Виньковецкого! Нет, правда. Знаешь, какие он мне стихи читает?

– Нет.

– Вот, послушай!

Маленькая Дина встала в позе чтеца, красиво сложила ручки на тулупе, и прочла с выражением:

Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.

Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.

Дочитав, посмотрела на нее почти с обидой:

– Ну, каково?

– Кто их написал?

– Да Иосиф же твой! Иосифа цитирует! Мне уже двадцать пять! Почтенная старая дева, все подружки – с детьми. К родителям в деревню спокойно приехать не могу – все с вопросиками, когда, Динка, когда? И ответить мне им нечего. Я замуж хочу! А он мне в ответ вот такие стихи читает. На Иосифа кивает...

– Но ведь любит?

Заговорила страстно:

– Говорит, что да. Да! И еще раз «да». Но терять «сердечную свободу» свою – не желает. Мол, не хочет разделять, как собственную кожу, ни с кем свою судьбу. Твердит, что человек должен охранять себя – стремиться ввысь. Я отвечаю ему – и куда? Один? Всегда один? А он мне – не хочет, мол, привязываться ни к одному лицу, будь оно самым любимым-разлюбимым. Хочет независимости для себя – и хоть трава не расти.

И почти сразу схватив ее за руку и уцепившись крепко, горячо зашептала:

– Поговори с ним, Марин? Может он тебя послушает? Тебя, женщину? Ты как-то на него воздействуешь, он словно замирает перед тобой – я почувствовала сегодня!

Марина смотрела на собеседницу: легкая безуминка во взгляде, и более – во влажной улыбке. Отчаянность ее облика по-своему сейчас трогала, влекла.

– Ведь если действительно любит – нельзя, нельзя так с любимым человеком! Скажи ему: ведь и Иосиф – а какой кремь был! – даже он передумал. Даже он жениться решил...

– А если не выйдет? Знаешь, послушала тебя – и мне страшно.

– Почему это?

– А если не любит? Притворяется? Чужому человеку легче в правде открыться. Разоткровенничается – и выложит всю подноготную. И что мне тогда тебе говорить? Правду? Или лгать? Я не могу – не терплю лжи, тем более в делах сердечных...

Диана смотрела на нее в долгой паузе, ошарашенная мыслью, которую гнала от себя – что Яков, возможно, и не любит ее вовсе. После расплакалась, ткнувшись лицом в ее тулуп. Марина попыталась успокоить девушку, набрасывая наспех фальшивые слова:

– Хорошо, я поговорю, поговорю с ним. Конечно же любит, я вижу это, чувствую...

– Правда?

– Абсолютная.

Кажется, им обоим стало жарко в этих тулупах. Марина бережно оттирала соседке лицо от слез и ругала себя, бесхребетную – ну вот зачем она ввязывается? Что она скажет Виньковецкому, этому, судя по всему, чурбану бессердечному? И ведь действительно – всякое можно услышать в ответ.

4.

Прошла неделя совместного проживания под одной крышей, а с пресловутым «Джейкобом» они еще были на «вы», и Марине это нравилось. Так было проще: ведь не друзья же и не будут. Быстрый переход на «ты», предпринимая попытку, покоробил бы (Динка не в счет. Динка – это Динка); и ведь на деле это даже отдаляло. Есть что-то неприятное в искусственной попытке сближения – быть на «ты» с человеком, который тебе не близок. И уже не станут: отношения были испорчены скоропалительным переходом как бы к близкой, но, по сути, к поверхностной дружбе.

А вот безопасное «вы», напротив, расслабляло; уютно, незаметно, понемногу, но это сближает – если конечно, человек пришелся по нраву. А Яша, серьезный, рассудительный, ей, несомненно, нравился... И казалось, что пока они на «вы» – разговор, обещанный Дине, будет наладить проще, проще.

Вот только он все никак не начинался.

Несколько дней не понимала, как вообще может исполнить свое опрометчивое обещание. Как подступиться к Виньковецкому? С каких слов начать? Что она ему скажет? «Ваша Диана – прекрасная девушка, не желаете ли, Яков, взять ее в жены»?

Динка периодически прорывалась на дачу, кидала вопросительные взгляды. Марина делала знак – нет, еще не поговорила.

В вечер новоселья Динка вернулась со двора распухшая, зареванная – и внезапно размякшая. Будто бы наконец опьянела – с опозданием в час или два, когда прочие начинали уже трезветь. На расспросы возлюбленного отрицательно мотала головой, лезла обниматься, через спинку сиденья, Виньковецкий едва успевал уворачиваться от ее мокрых поцелуев.

После этого случая Яков словно огородил свою девушку от Марины, и опекал плотно, поговорить наедине почти не получалось. Общались только на публике. Марина чувствовала, как Дина благоговеет, трепещет перед любимым, – ведет себя, словно провинившаяся его тень. Перед отъездом она снова взглядывала на Марину, уже умоляюще, и та снова делала знак: да, поговорит. И решительно не понимала, как. Прокручивала в голове возможные первые фразы – получалось рыхло, беспомощно.

Но вот этот день настал: оттягивать дальше нельзя. Сейчас или никогда. Остались на даче с Джейкобом одни, нужно было лишь найти повод завязать разговор... Виньковецкий приехал рано, привез из города свежих «пластов», и теперь с нижнего этажа доносились визгливые голоса негритянских певиц, похожие более на писк гигантского комара.

С холодеющим сердцем спустилась вниз. Яков сидел на диване, с раскрытым томиком в руках. И кажется, проще было бы начать с музыки, но начала с книг. Кивнула на римский профиль какого-то патриция, чтение лежало на столе:

– Ваше? Готовитесь к чему-то?

– Нет-нет, – ответил Яков. – Все это исключительно в целях самообразования. Могу и вам дать почитать!

Отказалась. Возникла пауза, лавиной размножилась в продолжительное молчание. Почти паникуя, Марина ляпнула первое, что явилось в голову:

– Пришла к вам за прощением.

– И за что же?

– На днях картошку пережарила...

Вообще это было правдой. У нее было что-то вроде дежурства, готовила то немногое, что могла, из того немногого, что нашлось на кухне. Кулинарный выход не удался – простейшее блюдо было бездарно провалено. Правдой было и то, что Виньковецкий ей сейчас не поверил, смотрел на нее внимательно, оценивая, что стоит за выпавшей из нее фразой.

– Не знаю, как это вышло. Только что была сырая, а вдруг уже угольки, – продолжала Марина, чувствуя, что пламенеет. Вышло глупо, вышло бездарно – ведь фальшивит. Уж лучше закончить беседу да подняться наверх. Но разговор все ж свернул на нужную колею – и инициатором был Яков. Вот только заговорил не о своих отношениях с Киселевой, а об их с Иосифом: и вряд ли Бродский его об этом просил. Впрочем, зашел Виньковецкий издалека – и настолько, что до нее не сразу дошло, к чему собеседник ведет.

– Знаете, а мне даже понравилось.

– Понравилось что?

– То, как безжалостно казнили вы картошку.

– Но почему?

– Умелая женщина у плиты – это как... – он улыбнулся: – Словно бы сирены в скалах ведут свою песнь!

– Причем здесь сирены?

– Не обидитесь? Рыба рыбе рознь, знаете ли... – Он сделал паузу, словно размышляя, продолжать ли – и сделал это решительно: – Вот сидишь на кухне с красивой женщиной, и от тебя требуется источать галантность, несмотря на всякие там вчерашние угольки, изрекать нечто витиеватое. А хочется солдатской прямоты.

– Что ж, ваяйте!

– Для Оси вы черная дыра, та самая сирена со скал... Погибель! Вот что я вам скажу, должен был сказать. – Продолжая застенчиво улыбаться, он говорил жестко: – Домашняя еда, семейный уют – этим женщины и увлекают нас в самые глубины брака. Сирены, одно слово. Чтобы мужчина, как бы талантлив ни был, сгинул в его пучинах.

Помолчал, взглянул на нее оценивающе, добавил:

– И вот для Иосифа – вы и есть та самая гибельная его цель.

– Постойте. Несмотря на мои угольки? Да любой от меня отшатнется за такое.

– Так в вас другой огонь тлеет, вы другими песнями его влечете. И, кажется, Осю ничто уже не спасет. Он сейчас на корабле, на самом его носу, он жадно глотает морской воздух, а его посудина мчится на полных парусах к вашим скалам.

– Вот, значит, как вы обо мне думаете.

– Да, – просто сказал он. – Но вы – погибель не столько его самого, сколько его таланта. Знаете, не собирался вам этого говорить, и в мыслях не было, но рад что сказал. Даже полегчало.

Вот тут-то и настал час дачной подружки:

– А как же ваша Дина? И она сирена? И вас несет к скалам, так?

– Продолжать ли мне быть солдатом? – спросил он, как-то неприятно сощурившись.

Марина молча кивнула, хотя понимала, что, возможно, тот скажет сейчас про Киселеву что-то ужасное.

– Она – не сирена.

Растерялась. Ждала неприятного, а он почти выказал комплимент своей подруге.

– Поясните. Что со мной не так, по сравнению с ней?

Он улыбнулся.

– Это с ней не так! С ней! – и быстро добавил. – Но про это – молчок, договорились? Она, конечно, хотела бы – быть для меня сиреной. Как вы для Иосифа. Но от вас несет роком. А от нее – пахнет котлетами и только-то. Понимаете?

– Нет, не понимаю. Если она хорошая хозяйка – то значит сирена. Вы же сами утверждали?

– Для кого-то она была бы сиреной – несомненно. Для обывателя из предместий. Но не для меня. Она отличная хозяйка, вот только я-то к этому холоден. Иосиф в вас – пропадает. Я же в Диане – нет. Скорее, разочарован, хотя в целом она отличная женщина и превосходный товарищ мой. С ней хорошо, надежно. Но если расстанемся – а мы, вероятнее всего, расстанемся, и скоро – вкус ее котлет я забуду через неделю.

– Вы жестоки.

– Я откровенен, и только. С вами, с посторонним человеком.

– Но с ней мы несколько сошлись. Не опасаетесь?

– Что донесете ей? Совершенно нет. Вы человек другого теста, не тот, кто разносит по углам. Это же видно. Что касается наших последующих отношений с Диной – конечно, я не собираюсь причинять ей боль. У меня стратегия – засушить отношения. Они сами сойдут на нет, вот увидите, без слез и всех этих ваших болезненных драм. Она просто увидит, что я не тот – и сама меня бросит.

– А ведь я всего-то и натворила, что картошку пережарила, – улыбнулась Марина, чувствуя, что накатывает слабость. – Но тут явились вы и разверзлись бездны. Яков, да вы чудовище.

– И Иосифу, кстати, тоже молчок. Он как-то тает от нее, от Динки-то, но хорошо, дружески так. Еще вызовет меня на дуэль, – и весело вдруг вскричал. – А у нас и славной пары дуэльных пистолетов не найдется!

– Я найду вам эту пару, поверьте, – сказала Марина. – И на выстрелах буду болеть за Иосифа, не сомневайтесь!

– Поговорили о еде – и захотелось есть. Составите компанию?

Джейкоб стервятником кинулся к холодильнику, с каким-то неприличным веселием принялся накладывать на тарелку котлеты, холодные, склизкие – «а вот и Динкино послание со скал!» Его оживление было неожиданным, неприятным: ведь только что человек объявил о предстоящем расставании с Киселевой. И не то чтобы она близка, но было больно. Отказавшись от предложения разделить стол – была голодна, но есть в эту минуту решительно не могла, тем более с ним – Марина вернулась на второй этаж. Поднималась, все думая о его словах, о морских скалах и корабле. Неужели Яков не шутит? Неужели она несет Иосифу гибель? Как только ему такое в голову могло прийти?

5.

Хлопнула бутылка шампанского. Влага разбежалась по хрустальным бокалам – в старом серванте их, неразбитых, нашлось четыре. О прошлом сервиза на двенадцать некогда персон хорошо был осведомлен Яков: «один из них я расколотил самолично». Оставшиеся бокалы, по его словам, были «сосланы на дачу, как декабристы на заклятие», по этой причине «их тоже

можно бить, списаны Бергами практически в утиль». Но тут же добавил: «Это была шутка, если кто не понял. Хозяйка нам головы оторвет, если угробим и эти».

А ведь их тоже было четверо, встречающих Новый 1963 год. В этом совпадении – четверо на даче и столько же звонких предметов в серванте – Дина, бюстительница примет, сразу же углядела добрый знак.

Исполнить бой новогодних курантов было доверено старому дачному приемнику. Совсем некстати Иосиф принялся искать в радиоприборе «голоса», на него шикнули: «Ося, не сейчас». Бродский послушно выловил советскую волну – тут-то и грянул бой кремлевских курантов. По традиции, под их переливы всем было должно встать. Чокаясь, смотрели не на бокалы, а друг другу в глаза – важный пункт новогоднего обряда. И Марина взглянула тогда на Иосифа – но быстро, тревожно, сразу же отвела взгляд.

Отвела, потому что вспомнился вдруг Стерлигов. Обожгло воспоминанием о глупой и мечтательной беспомощности, в которой пребывала год назад. Не могла смотреть на Осю сейчас – будто в глазах он разглядел бы то прошлое, стыдное новогоднее утро.

Бокалы осушили стоя же. Где-то вдаль за окном празднично вскрикнула и рассмеялась женщина. Иосиф с некоторой церемонностью – будто был в пиджаке, но нет, лишь в накрах-маленной рубашке – дотянулся до нее, шепотом спросил:

– Что это было? Ты вся изменилась.

Двенадцать месяцев прошло, всего-то двенадцать. Снова взглянула на него, и снова мельком.

– Нет-нет, ничего!

Отвечала уклончиво, смотря куда-то вдаль, стараясь оживить уста праздничной улыбкой. Но в памяти все кружил и кружил, в ярких красках, Новый год – тот, прошлый, дикий... И насколько все же проще сейчас! Но ведь год прошел. Целый год.

– Ну, с Новым годом! – прокричал охмелевший Яша. – Ура, товарищи!

– С новым счастьем! – слабым эхом откликнулась и Марина.

И казалось, со счастьем все-то теперь будет просто. Ближе к последним дням декабря Басманова решила окончательно – их свадьбе с Бродским быть. На вердикт, в какой-то мере, повлиял разговор с Яковым – она не разрушительница судеб, нет. Она докажет! Как и когда раскрыться Бродскому? Думать почти и не пришлось – снизошло, почти озарило: конечно же, в Новый год! Почему? Во-первых, это красиво – годовщина знакомства. Самое время огласить ответ, которого тот так давно добивался...

Секрет поведала только Динке – не собиралась кому-либо говорить, а тем более Киселевой, но уж так получилось. Марина долго крутила в голове, как рассказать дачной подружке о тяжелом разговоре с Виньковецким. Но лишь увидела ее распахнутые, искрящиеся ожиданием глаза, как все решилось само собой – Яша, конечно же, ее любит. «Любит?!» Динка надеялась на эти слова, и все же растерялась от категоричности вывода. Марина напирала: да, любит. Он и жениться готов, но ты ведь знаешь этих мужчин – тянут до последнего. Сыро, фальшиво, глупо – говорила и говорила что-то еще. И вот в потоке тех лживых слов и проскочила, прозвучала по-настоящему правдивая фраза: я ведь Осю тоже люблю. Весной поженимся...

– Поженитесь?! Ты ему сказала?

– Еще нет. – И, помолчав: – Знаешь, вот в Новый год и скажу...

Ее спонтанная, отчаянная ложь сыграла неожиданно – отношения Дины и Яши, нервные, балансирующие на грани разрыва, вдруг наладились. И кажется, Марина начинала понимать, почему: уверовав в ее ложь, Динка расслабилась. Перестала изводить Яшу подозрениями в нелюбви. Пропала свойственная ей в последнее время манера балансировать на грани истерики, вернулось легкое волшебство маленькой, яркой, оптимистичной блондинки. А следом – залюбовался ею и Яков. Однажды Марина увидела их из окна: стояли в зимнем саду под

деревом, руки сплетены – и взгляды тоже. Они впервые, кажется, стали походить на влюбленную пару.

Но изменилось и что-то еще, в последние дни перед Новым годом: почувствовала это явственно. Иосиф ходил по-особенному оживленный, посматривал на нее загадочно. Списала это на предстоящее празднество и почти успокоилась. Но вот сейчас, когда сели к закускам, заметила вдруг, как Динка с Осей заговорщицки переглянулись. После Киселева выразительно взглянула на Марину: мол, чего тянешь, решайся! Басманова растерянно перевела взор на Яшу – тот смущенно ковырялся в винегрете.

Тут-то и пронзила мысль: Ося все знает! Динка – проболталась!

И это было катастрофой. Нет ничего хуже человеческих упований: когда вынуждена делать, что от тебя ждут. Новый год начался с темной ночи, и в ней от нее должны были изойти слова – долгожданные, важные, определяющие жизнь на годы вперед. Ося, он ведь весь теперь в предвкушении, сидит по левую руку, излучая галантность. Предупредителен, нежен, уверен, что его чаяния не будут обмануты.

Паникуя, Марина налегала на еду. И что уж там – и на спиртное тоже. Иосиф же почти и не пил в смиренном ожидании судьбоносной минуты. Постепенно смятение проходило, уступая место веселой злости. Это было мерзко, мерзко – вот они собрались, затаились в ожидании момента, когда вступит на сцену. Как новогодний заяц, прямо под луч прожектора – и затянет песенку, что ей должно исполнить. Нет, не должна! Этого не будет. Не будет! Не сейчас.

Осушив четвертый бокал – без очереди, не дожидаясь возгласов Яши-тамады – потянулась к мерзкой, так ненавидимой ею водке. Недрогнувшей рукой наполнила стопку до краев – Ося следил с тревогой:

– Кажется, ты собиралась о чем-то объявить?

Смотрела на него хмельно, сомнений не оставалось – сюрприза, о коем затаенно мечталось несколько месяцев, не получится. И в этом своем напоре он точно был неправ – не стоило, ох не стоило вытягивать из нее клещами. Это просто грубо, Иосиф. Спиртное выиграло, ответила с вызовом:

– Ты о чем?

Опрокинув порцию жгучего напитка, скривилась. Кисейная нежность, с которой вошел в вечер Иосиф, и которая в итоге обернулась для него растерянностью, вызывали лишь ярость.

– Может и хотела. Уже не помню. Такое бывает, Ося...

Жадно накинулась на еду. И пусть тарелка ее злобы полна была, кажется, доверху, но накидала себе еще порцию салатов. Поглощала пищу, презрительно посматривая в сторону Яши; подчеркнуто игнорировала предательницу Киселеву. Понимала, как это могло произойти: ликующая, расслабленная, празднующая час любви Динка проболталась Якову. А тот не сдержался и поведал Иосифу: но ведь друзья.

Хмель еще шумел в голове, злость не проходила. Бродский раздраженно вскакивал, уходил, но после подсаживался вновь, примирительно заглядывал в глаза – игнорировала его взгляд. Не в силах вытерпеть стену отчуждения, он снова удалялся в комнаты. Не смотрела на него, нет. Понимала впрочем, что перегнула палку: надо как-то мириться. Никто и никаких важных слов от нее в эту ночь не услышит, но было бы славно вернуть ее к мирному, а может и к праздничному началу. Виньковецкие пытались войти к ней в беседу, отвечала односложно, но отвечала – и даже Динке. И все же вокруг нее словно бы образовалось пустое пространство. А после возникло ощущение, что будто бы один за другим стали отключаться прожектора, которыми освещена была та сцена.

Мрачно взошел на второй этаж и окончательно пропал Ося. Следом испарился Яша – но робко подседа Диана. Выловила ее взгляд, все было понятно и без слов:

– Я дура, да?

Марина молчала. Диана начала всхлипывать:

– Прости меня, прости! Знаю, ты хотела как-то обставить, удивить его... А я все испортила! Только сейчас и поняла, что натворила!

Марина смотрела на нее, постепенно смягчаясь – ведь и сама виновата. Ведь никакие они не подруги. Зачем доверилась?

Мстительно проговорила:

– Пойми, был порыв, момент, я впервые была готова. Но сейчас ничего уже ему не скажу. И даже не знаю, скажу ли когда еще...

Динка заревела еще горше.

6.

Остаток зимнего празднества прошел тревожно, тускло, влет. И можно было расходиться, но после шатаний по закоулкам дачи (порой это выглядело смешно – Марина входила в комнату, Иосиф вылетал из нее пулей) все снова собрались в гостиной. Будто главного в ту ночь не свершилось – и оставалась надежда, что это произойдет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.